

А. Ф.
ПИСЕМСКИЙ

Избранное



Алексей Феофилактович Писемский

Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына

«В одном из московских переулков, вероятно, еще и теперь стоит большой каменный дом, на воротах коего некогда красовалась вывеска с надписью: «Здесь отдаются квартиры со столом, спросить госпожу Замшеву». Осеннее солнце, это было часу в десятом утра, заглянуло между прочим и в квартиры со столом и в комнате, занимаемой хозяйкою, осветило обычную утреннюю сцену...»

Содержание

I.....	0005
II.....	0043
III.....	0071
IV.....	0098
V.....	0127
VI.....	0165
VII.....	0191
VIII.....	0220
IX.....	0247
X.....	0274
Примечания.....	0290

**Алексей Феофилактович
Писемский
Сергей Петрович Хозаров и
Мари Ступицына
*Брак по страсти***

*Мелкие натуры только претендуют
на любовь
и неудачно драпируются плащом Ро-
мео и Юлии.*

В одном из московских переулков, вероятно, еще и теперь стоит большой каменный дом, на воротах коего некогда красовалась вывеска с надписью: «Здесь отдаются квартиры со столом, спросить госпожу Замшеву». Осеннее солнце, это было часу в десятом утра, заглянуло между прочим и в квартиры со столом и в комнате, занимаемой хозяйкою, осветило обычную утреннюю сцену. Госпожа или, лучше сказать, девица Замшева сидела перед столом и пила чай; перед нею, несколько в почтительном отдалении, стояла баба. Нельзя сказать, чтобы обе эти женщины, хотя и были освещены волшебным светом солнца, представляли живописные фигуры. Почтеннейшая хозяйка, девица с лишком за сорок, одетая в какой-то не совсем опрятный капот-распашонку, имела лицо страшно рябое и очень

тоненькую и жидкую косу, которые обыкновенно называются мышинными хвостами. Костлявые руки девицы Замшевой, вообще немного плоской и худой, носили на себе остаток утренней возни с провизией. Про бабу и говорить нечего: это был какой-то грязный комок, комок, впрочем, плотный и здоровый.

– Так ты сделаешь суп из телятины, – начала хозяйка, – сосиски под капустой и зажаришь голубей да еще из вашей говядины выбери получше кусочек и свари щи и завари кашу.

– Всем всяво давать? – спросила баба.

– Опять всем; разве я тебе, глупая, не толковала, – возразила хозяйка, – во второй номер пошли всего и спроси, чего угодно. Сибариту дай только супу и сосисок. Ферापонту Григорьичу пошли щей, сосисок и каши. В четвертый номер отошли только супу без телятины и кашу, да смотри, как можно меньше масла.

– Да вчера и то чуть не прибили, – заметила баба.

– Вот прекрасно, рассуждаешь еще! Не твое

дело, – возразила хозяйка.

– Да ведь дерутся; этта черноволосый-то в кухню прибежал: лаялся, лаялся, ажно ухват схватил!

– Велика важность: ухват схватил, им же хуже! В пятый номер ничего не посылай, кроме супу: человек больной, ему диета нужна. В шестой номер пошлешь всего и спросишь: чего хотят, да голубей отправь парочку: он охотник.

– Не запомню, Татьяна Ивановна, вся ваша воля, не запомню, – отвечала кухарка.

– Ну, так и есть, перемешай опять.

– Вся ваша воля, памяти на алтын нет.

– Поди, этакий деревенский неуч! Еще не без чего четвертый год в Москве живешь, – возразила с сердцем Татьяна Ивановна. – Дай мне умыться, – сказала она и начала доставать из комода мыло, полотенце и угольный порошок. Кухарка между тем достала из-под кровати таз с огромным умывальником. Распустив совершенно капот-распашонку, Татьяна Ивановна первоначально натерла зубы угольным порошком, выполоскала их потом и вслед за тем принялась обмывать руки, ли-

цо и даже грудь. Почти целое ведро было издержано на омовение ее сорокалетних прелестей, которые потом, как водится, были старательно обтерты полотенцем, а кухарка отслана к исполнению ее прямых обязанностей. Оставшись одна, Татьяна Ивановна принялась убирать волосы. Приведя голову в порядок, она вынула из комода пузырек с белой жидкостью и начала оною натирать лицо, руки и шею; далее, вынув из того же комода ящичек с красным порошком, слегка покрыла им щеки. Украсив таким образом свое лицо и возложив на себя известное число юбок, Татьяна Ивановна, наконец, надела свое холстинковое, почти новенькое платье, и — странное дело, что значит женский туалет! Перед вами как будто появилась другая женщина; не говоря уже о том, что рябины разгладились, стали гораздо незаметнее, что цвет лица сделался совершенно другой, что самая худоба стана пополнела, но даже коса, этот мышиный хвост сделался гораздо толще, роскошнее и весьма красиво сложился в нечто вроде корзинки.

Одевшись совершенно, Татьяна Ивановна

намеревалась приступить к подвигу хождения по номерам для собирания денег с своих постояльцев.

Из последующих сцен мы убедимся, что это был действительно подвиг, подвиг трудный и редко сопровождающийся должным успехом. В эпоху предпринятого мною рассказа у девицы Замшевой постояльцами были: какой-то малоросс, человек еще молодой, который первоначально всякий день куда-то уходил, но вот уже другой месяц сидел все или, точнее сказать, лежал дома, хотя и был совершенно здоров, за что Татьяной Ивановной и прозван был сибаритом; другие постояльцы: музыкант, старый помещик, две неопределенные личности, танцевальный учитель, с полгода болевший какою-то хронической болезнью, и, наконец, молодой помещик Хозаров. Татьяна Ивановна, как могли мы заметить из предыдущего ее разговора в отношении обеда с кухаркою, неодинаким образом третировала своих постояльцев. Она разделяла их на три класса: на милашек, на так себе и на гадких. К числу милашек принадлежали: двое помещиков и музыкант, ко-

торый был, впрочем, тайный милашка, и о нем она даже мало говорила; к так себе относились: сибарит и танцевальный учитель; к гадким: две неопределенные личности.

Постояльцы, с своей стороны, именовали Татьяну Ивановну: почтеннейшая. Выйдя из своей комнаты, Татьяна Ивановна подошла к первому номеру, то есть к сибариту.

– Что, можно? – спросила она, приотворив немного двери.

– Можно, – отвечал голос изнутри.

– Да вы в постели?

– То есть я на кровати.

– Ну, так прикройтесь.

– Войдите, прикрылся.

Для объяснения такого рода переговоров я должен здесь заметить, что малоросс, несмотря на громкое титло сибарита, имел не совсем полный комплект утренних и ночных принадлежностей человека. Они ограничивались одною ваточною шинелью, которую он обыкновенно подстилал под себя, не прикрывая себя сверху ничем.

Несмотря на уверения постояльца, что он прикрылся, девица Замшева не верила и вхо-

дила в комнату, стараясь быть к кровати жильца спиною, и в том же самом положении начинала с ним вести дальнейшие переговоры.

– Я к вам.

– А что?

– Нет ли у вас денег?

– Увы! Татьяна Ивановна, совершенно нет.

– Да как же мне-то делать?

– Не знаю, моя почтеннейшая!

– Вы за три месяца не платили.

– Вы себя обсчитываете, почтеннейшая, с процентами больше, чем за три; что делать! Я бы вам сейчас отдал за четыре, но нема пенензы!

– Ах, какой вы смешной! Да что теперь я-то буду делать?

– Одно только: выслушайте меня, почтеннейшая Татьяна Ивановна! Неужели же вы думаете, чтобы я, имея деньги, отказал себе в трубке табаку; но я теперь не курю, следовательно, теперь у меня нет денег.

– А третьего дня на что в трактир ходили, и пьяный еще Матрену, бесстыдник этакий, обругал?

– Ах, Татьяна Ивановна! Не растравляйте раны! Это был сон, и сон прекрасный, но он миновался и сегодня не повторится.

– Да не со сна же вы опьянели? Где денег-то взяли?

– Денег у меня не было, но ко мне явился благодетельный гений и сказал: «Надень мой сюртук, мои калоши, пойдем в трактир, пей и ешь».

– Все вы лжете: откуда вам денег-то пришлют?

– Ну, это другой вопрос. Денег должны мне прислать, во-первых, отец, во-вторых, тетки, в-третьих, братья, в-четвертых, сестры.

– Да, вот так и ждите.

– Непременно пришлют!

– Ну, смотрите, больше нынешнего месяца не стану ждать, – отвечала Татьяна Ивановна и с тою же предосторожностью начала выходить из номера.

– Татьяна Ивановна, а Татьяна Ивановна! – кричал ей вслед сибарит. – Пришлете мне сегодня обедать?

– Не знаю.

– Пришлите, пожалуйста, да чтобы суп-то

был немного повкуснее, а то в простой воде больше жиру; хоть хлеба присылайте побольше.

Татьяна Ивановна на эти слова ничего не ответила и следующий за тем номер прошла мимо; в нем проживал секретный ее милашка, музыкант, она к нему никогда не заходила по утрам. В ближайший номер девица Замшева вошла без всяких предосторожностей, с выражением лица более веселым, совершенно добрым и несколько даже почтительным. В этом номере жил милашка – старый помещик, значительно толстый и сильно обросший усами и бакенбардами. Комната его по своему убранству совершенно не походила на предыдущий номер: во-первых, на кровати лежала трехпудовая перина и до пяти подушек; по стенам стояли: ящички, ящички, два тульские ружья, несколько черешневых чубуков, висели четверня московских шлей с оголовками и калмыцкий тулуп; по окнам стояли чашки, чайник, кофейник, судок для вин, графин с водкой и фунта два икры, московский калач и десяток редиски. Сам помещик, в толсто настеганном шерстяном халате, си-

дел перед новеньким огромным самоваром из красной меди и кушал чай. Сзади его лакей в домотканом чепане поправлял на оселке бритву.

– Кто там? – закричал милашка-помещик, услышав скрип дверей.

– Хозяйка, – отвечал лакей.

– А!.. – произнес помещик. – Что скажете, голубушка? Не хотите ли чаю?.. Ванька! Подай ей чаю.

– Я пришла наведаться, хорошо ли вам.

– Ничего... идет; только клопов или блох много.

– Блохи, должно быть, беспокоили вас. Клопов здесь совершенно нет. Я вот здесь третий год живу, а никогда ни одного клопа в глаза не видала, – отвечала Татьяна Ивановна. – Не знаю, как бы вам помочь в этом: крапивы разве под простыню положить? Говорят, это помогает.

– Ничего не надо, и так сойдет; а вот что, голубушка, супов-то мне своих не подавай: мерзость страшная.

– Я думала, что вы изволите любить.

– Какого тут черта любить! Вари мне щи,

да и голубьями не изволь потчевать: я этой мерзости совсем не ем.

– Слышала, батюшка Ферапонт Григорьич, слышала: с сегодняшнего же дня велела готовить стол по вашему вкусу. У нас ведь нельзя-с, стоят больше иностранцы.

– Ну, иностранцев и корми супами; а мне этих помой не надобно.

– Слушаю-с, – отвечала хозяйка. – А вы, я вижу, еще покупочку сделали, – прибавила она, оглядывая комнату, – хомутики изволили купить?

– На целую четверню хватил, матушка. Ванька, покажи хозяйке хомуты. Ну, посмотри, во сколько оценишь?

– Не могу сказать, Ферапонт Григорьич: совершенно неопытна в конских вещах.

– Да ты посмотри, какой ремень-то, совершенный бархат.

– Вижу, батюшка, ремень отличнейший; но, признаться сказать, мне больше всего нравится шляпка, что для супруги изволили купить.

– Ха-ха-ха!.. Ты ведь думала, что я ее на Кузнецком купил?

– Да вы и то беспрерывно на Кузнецком купили, по фасону видно.

– Ха-ха-ха!.. На Ильинке за двадцать пять рублей. Даром, матушка, что деревенщина, не надуют.

– А я было к вам пришла, Ферапонт Григорьич...

– А что?

– Да деньжонок...

– Вот тебе на! Я ведь тебе и то за целый месяц дал вперед.

– Нужно, батюшка, видит бог, нужно; ну, хочется, чтобы всем было покойно.

– Нет, мадам, больше не дам.

– Батюшка, Ферапонт Григорьич, не погубите, совершенно погибаю: все перезаложила, с позволения сказать, юбку третьего дня продала на толкучке.

– Да ведь и то я тебе задавал вперед.

– Благодетель мой, вы еще здесь пробудете. Сделайте божескую милость: дайте.

– Экая ведь ты нюня! Ну, на, десять рублей.

– Одолжите, благодетель, двадцать.

– Не дам, пошла вон! – закричал, осердившись, помещик. – Дармоеды такие москов-

ские, – прибавил он вполголоса.

– Батюшка, Ферапонт Григорьич, нужда. Неужели бы я осмелилась вас беспокоить, если бы не крайность моя.

– Ну, ладно, прощай, мне бриться пора.

Татьяна Ивановна пошла.

Для объяснения грубого тона, который имел с Татьяной Ивановной Ферапонт Григорьич – человек вообще порядочный, я должен заметить, что он почтеннейшую хозяйку совершенно не отделял от хозяек на постоянных дворах и единственное находил между ними различие в том, что те русские бабы и ходят в сарафанах, а эта из немок и рядится в платье, но что все они ужасные плутовки и подхалимки.

В ближайшем номере помещались двое гадких ее постояльцев. В комнате их, как и в будуаре сибарита, ничего не было, кроме двух диванов, одного стола и стула. Эти два человека жили, кажется, очень дружно между собою и целые дни играли в преферанс, принимаясь за это дело с самого утра и продолжая оное до поздней ночи. По наружности они были частью схожи: оба были одеты в страшно

запачканные халаты, ноги одного покоились в валеных сапогах, а у другого в калошах; лица были у обоих испитые, нечистые, с небритыми бородами и с взъерошенными у одного черными, а у другого белокурыми волосами.

Во время прихода Татьяны Ивановны они были за обычным своим делом, то есть играли в преферанс. Хозяйка вошла к ним в номер с физиономией гордой и строгой.

– А вы уж с раннего утра и за карты! И праздника-то на вас нет, греховодники этакие, – сказала она, подходя к столу.

На эти слова игроки ничего не отвечали.

– Ты в чем играл? – спросил один из них товарища.

– В червях – без одной, – отвечал другой.

– Нечего тут в червях; денег давайте лучше, – проговорила хозяйка.

– Купил, – сказал один игрок.

– Бубны, – перебил его партнер.

– Да что это, глухи, что ли, вы стали? Я пришла за деньгами.

– Пас и не приглашаю, – сказал игрок.

– Бесстыдники этакие! Еще благородные, а хотят чужой хлеб даром есть.

– Ну, ну, потише, почтеннейшая! – сказал один из постояльцев. – Куплю.

– Нечего потише... Что вы, племянники, что ли, мне, вас даром держать?

– Пикендрясы, – проговорил его товарищ.

– Да что я вам на смех, господа, что ли, далась? – сказала, начиная не на шутку сердиться, Татьяна Ивановна. – Сегодня же извольте съезжать, когда не хотите платить денег, а не то, право, в полицию пойду, разорители такие!

*Среди игры, среди забавы,
Среди благополучных дней! –*

запел один из игроков.

– Бескозырная, – прибавил он.

– Вист с болваном, – отвечал другой и тоже запел:

Среди богатства, чести, славы!

Татьяна Ивановна совершенно вышла из себя и плюнула.

– Провалиться мне сквозь землю, если я дам вам сегодня обедать; топить не стану; вьюшки оберу, разбойники такие... грабители... туда же в карты играют: милостинками,

что ли, друг другу платить станете? – говорила она, выходя из номера.

– Ваня, – сказал один из постояльцев, – гривенник есть у тебя?

– Есть, – отвечал другой.

– Ладно, а то, брат, дура-то не пришлет обедать.

– Ничего... Хлеба купим... Пики!

Между тем Татьяна Ивановна отправилась в другой номер, в котором проживал ее постоялец так себе – танцевальный учитель; он, худой, как мертвец, лежал на диване под изорванным тулупом.

– Что, вам лучше ли? – сказала, войдя, Татьяна Ивановна. Больной кивнул отрицательно головой.

– Да вы бы в больницу ехали.

– Завтра.

– Да что завтра? Вот уже третий месяц говорите все: завтра.

– Денег нет!

– Продали бы что-нибудь.

– Все уже продано.

– То-то и есть, все продано; денег нет, а еще рому покупали в семь рублей, да еще и пьяны

напились.

– Для испарины.

– Да для испарины не допьяна пьют. Большой человек, а туда же кутите. Марфутка сказывала, что едва вас оттерла.

– Я всю бутылку выпил. Что делать? С горя!

– Ну, а мне-то как же? За целый месяц ни копейки не платили, а ведь, я думаю, я каждый день нарочно для вас суп варю.

– Дайте поправиться.

– Полноте с вашим поправлением. Ноги-то, я знаю, у вас хороши, да губы-то к вину очень лакомы. Нет ли хоть сколько-нибудь?

– Ни копейки нет.

Татьяна Ивановна махнула рукой и вышла из комнаты.

В соседнем номере проживал третий ее милашка. Мало этого: он был, как сама она рассказывала, ее друг и поверял ей все свои секреты. Занимаемый им номер был самый чистый, хотя и не совсем теплый. В самом теплом номере проживал скрытный ее милашка – музыкант. В то время, как Татьяна Ивановна вошла к другу, он сидел и завивался. Марфутка, толстая и довольно неопрятная

девка, исправлявшая, по распоряжению хозяйки, обязанность камердинера милашки, держала перед ним накаленные компасы.

– А вы все франтите? – сказала Татьяна Ивановна, входя в комнату.

– С добрым утром, почтеннейшая! Прошу принять место и побеседовать, – отвечал тот, старательно укладывая свои волосы в щипцы.

– Марфа вам нужна?

– Нет, я сам завьюсь... А что?..

– То-то, я хотела вам велеть кофею принести.

– Мерси, тысячу раз мерси, почтеннейшая. С большим удовольствием выпью, – сказал милашка, протягивая хозяйке руку.

– Для милого дружка и сережка из ушка, – сказала Татьяна Ивановна. – Поди свари, – прибавила она, обращаясь к Марфе.

Та вышла.

Так как этот друг Татьяны Ивановны должен в моем рассказе играть главную роль, то я обязанным себя считаю поподробнее познакомить читателя с его наружностью, отчасти биографией и главными наклонностями. Сер-

гей Петрович Хозаров, поручик в отставке, был лет двадцати семи; лицо его было одно из тех, про которые говорят, что они похожи на парижские журнальные картинки: и нос, например, у него был немного орлиный, и губы тонкие и розовые, и румянец на щеках свежий, и голубые, правильно очерченные и подернутые влагою глаза, а над ними тонкою дугою обведенные брови, и, наконец, усы, не так большие и не очень маленькие. Про прическу и говорить нечего: она была совершенно по моде того времени, то есть на теме приглажена, а на висках и на затылке разбита в букли. В лице его, если хотите, все было хорошо, свежо, даже правильно и гармонировало одно с другим; но в то же время чего-то недоставало, что вы желаете и любите видеть в лице человека. О подобных физиономиях существуют два совершенно противоположные мнения. Одни говорят, что это красавцы, миленькие, даже молодцы, мало этого, Аполлоны Бельведерские; другие же называют их смазливými рожицами, масками, расписными купидонами и даже форейторами, смотря по тому, какой у кого эпитет ближе на языке.

О герое моем предоставляю вам, читатель мой, избрать какое будет угодно из вышеупомянутых мнений. Кроме своей приятной наружности, Сергей Петрович владел еще многими другими достоинствами. Служа в полку, он слыл за славного малого, удивительного мастера танцевать и вообще за человека хорошо образованного, потому что имел очень приличные манеры, говорил по-французски, владел пером и сочинял стихи, из коих двое даже были напечатаны в каком-то журнале, но главное – он имел необыкновенно много вкуса. При первой возможности молодой поручик так мило отделявал и меблировал свою квартиру, что приезжавшие к нему, разумеется, с мужьями, дамы ахали от восторга и удивления; экипаж у него был один из первых между всеми господами офицерами; жженку Хозаров умел варить классически и вообще с неподражаемым умением распоряжался приятельскими пирушками и всегда почти, по просьбе помещиков, устраивал у них балы, и балы выходили отличные. Две только слабости имел молодой человек: во-первых, он был очень влюбчив, так что не проходило месяца,

чтобы он в кого-нибудь не влюбился, и влюблялся обыкновенно искренне, но только ненадолго; во-вторых, имел сильную склонность и большую в то же время способность брать займы деньги. Над первою его слабостью товарищи подтрунивали и называли его Сердечкиным, вторым же недостатком даже тяготились, особенно в последнее время, так как эта склонность в нем со дня на день более и более развивалась. По выходе в отставку Хозаров года два жил в губернии и здесь успел заслужить то же реноме; но так как в небольших городах вообще любят делать из мухи слона и, по преимуществу, на недостатки человека смотрят сквозь увеличительное стекло, то и о поручике начали рассуждать таким образом: он человек ловкий, светский и даже, если вам угодно, ученый, но только мотыга, любит жить не по средствам, и что все свое состояньишко пропировал да пробарствовал, а теперь вот и ждет, не выпадет ли на его долю какой-нибудь дуры-невесты с тысячею душами, но таких будто нынче совсем и на свете нет. Конечно, читатель из одного того, что герой мой, наделенный по воле су-

деб таким прекрасным вкусом, проживал в номерах Татьяны Ивановны, – из одного этого может уже заключить, что обстоятельства Хозарова были не совсем хороши; я же, с своей стороны, скажу, что обстоятельства его были никуда не годны. Имение его уже окончательно было продано, в Москву он приехал с двумя тысячами на ассигнации; но что значат эти деньги для человека со вкусом? Капля в море! В настоящее время Хозаров жил старым кредитом во всевозможных местах, где только ему верили. К Татьяне Ивановне он явился после не совсем приятной истории с m-р Шевалдышевым, у которого он первоначально стоял, и явился, как говорится, с форсом, а именно, в отличном пальто и с эффектной палкою, у которой на ручном конце красовалась позолоченная головка одного из греческих мудрецов. Первоначально он потребовал лучший номер, раскритиковал его как следует, а потом, разговорившись с хозяйкою, нанял и в дальнейшем разговоре так очаровал Татьяну Ивановну, что она не только не попросила денег в задаток, но даже после, в продолжение трех месяцев, держала его без

всякой уплаты и все-таки считала милашкой и даже передавала ему заимообразно рублей до ста ассигнациями из своих собственных денег. Любить его, несколько корыстно для самой себя, она не смела и подумать, но чувствовала к нему дружбу и гордилась этим. Милашка же, с своей стороны, высказывал сорокалетней девице самые задушевные свои тайны. Что касается до помещения Сергея Петровича, то и оно обнаруживало главные его наклонности, то есть представляло видимую замашку на франтовство, комфорт и опрятность; даже постель молодого человека, несмотря на утреннее время, представляла величайший порядок, который царствовал и во всем остальном убранстве комнаты: несколько гравюр, представляющих охоту, Тальму[1] в костюме Гамлета, арабскую лошадь, четырех дам, очень недурных собой, из коих под одной было написано: «весна», под другой: «лето», под третьей: «осень», под четвертой: «зима». Все они развешаны были совершенно симметрично. В углу стояло что-то вроде горки, в которую было вставлено несколько чубуков с трубками, в числе коих

было до пяти черешневых с янтарными мундштуками. На столе, перед которым сидел Сергей Петрович, в старых, но все-таки вольтеровских креслах, были размещены тоже в величайшем порядке различные принадлежности мужского туалета: в середине стояло складное зеркало, с одной стороны коего помещалась щетка, с другой – гребенка; потом опять с одной стороны – помада в фарфоровой банке, с другой – фиксатуар в своей серебряной шкурке; около помады была склянка с о-де-колоном; около фиксатуара флакончик с духами, далее на столе лежал небольшой портфель, перед которым красовались две неразлучные подруги: чернильница с песочницей. По одну сторону портфеля лежал пресс-папье, изображающий легавую собаку, который придавливал какие-то бумаги; с другой стороны находился тоже пресс-папье с изображением кабаньей головы; под ним ничего уже не было, и он, видимо, поставлен был для симметрии. Много еще было других предметов, обличающих стремление к модному комфорту; так, например, по стене стоял турецкий диван, под ногами хозяина лежала

медвежья шкура, и тому подобное.

– Вы сегодня едете куда-нибудь? – спросила Татьяна Ивановна.

– Не знаю еще, – отвечал Хозаров.

– А вчера были там?

– Был.

– Ну, что?

– Ничего хорошего; я недоволен вчерашним вечером.

– Что такое?

– Она не любит меня!

– Ой, не говорите этого, Сергей Петрович, не говорите, ни за что не поверю: вы просто скрываете. Вы, мужчины, прескритный народ в этих вещах.

– Нет, вы выслушайте наперед и растолкуйте мне, как это понять? Приезжаю я, как вы знаете, в семь часов. В зале никого. Я прошел к Катерине Архиповне. Она сидит одна; разумеется, сажусь и начинаю рассказывать разные разности, как можно громче смеюсь, хохочу, – не тут-то было! Прошел целый час, наконец, являются две старшие дылды; а ее все-таки нет! Я просто думал, что больна; но сами согласитесь, не ехать же домой. Уселся с

барышнями в карты; смеюсь, шучу, а внутри, знаете, так и кипит: ничего не помогает; проходит еще час, два – не является. Наконец, уж я не вытерпел. «Здорова ли, я говорю, Марья Антоновна?» И как бы вы думали, что мне ответили? «Кошку свою, говорят, сегодня целый вечер моет с мылом». Я чуть не лопнул от досады. Во-первых, это глупо, а во-вторых, неприлично. Хорошо, думаю, мадемуазель, я вам отплачу, и тотчас же начал говорить любезности Анете. Та, как водится, принялась закатывать свои оловянные глаза, и пошла писать... Вдруг является, немного, знаете, бледная, грустная, поклонилась и села около матери, почти напротив меня. Я ни слова и продолжаю любезничать с Анетой. Та совсем растаяла, только что не обнимает...

– Послушайте, Сергей Петрович, – перебила Татьяна Ивановна, – вы ужасный человек. За что вы мучите этого ангела?

– Помилуйте, Татьяна Ивановна, что вы говорите? Она меня мучит.

– Нет, вы этого не говорите, – возразила хозяйка, – она, бедненькая, вероятно, это время мечтала о вас, а вы, злой человек, сейчас уж и

стали заниматься с другой.

– Но послушайте, Татьяна Ивановна: любя человека, разве вы в состоянии были бы в каких-нибудь трех шагах просидеть два часа и не выйти, и чем же в это время заниматься: дурацким мытьем какой-нибудь мерзкой кошки!

– Конечно, я бы этого не в состоянии была сделать, потому что никогда кокетства не имела.

– Вот видите, вы сами проговорились; стало быть, она только кокетничает со мной.

– Этого не смейте при мне и говорить, Сергей Петрович! Она вас любит.

– Да из чего вы видите?

– Из всего; во-первых, вы говорите – она пришла немного бледная и потом села напротив, чтобы глядеть на вас.

– Ну, нет... Таким образом перетолковать можно все, – произнес Сергей Петрович, которому, впрочем, последние слова хозяйки, кажется, очень были приятны.

– Послушайте, – начала Татьяна Ивановна, одушевившись. – Я любила одного человека... полюбила его с самого первого раза, как уви-

дела. Он жил в одном со мною доме, и что же вы думаете? Я целую неделю не имела духу войти к нему в комнату.

– Это о соседе вы говорите? – спросил с улыбкою Хозаров.

– Ой, нет! О другом, – возразила, вспыхнув, Татьяна Ивановна.

– Не может быть! Верно, о нем.

– Нет, право, о другом; про этого только так говорят... Конечно, он ко мне равнодушен, да нет, не по моему вкусу!

– Все это прекрасно, Татьяна Ивановна, да мои-то дела плохи.

– Вовсе не плохи. Головой моей отвечаю, что она вас любит и очень любит. Это ведь очень заметно: вот иногда придешь к ним; ну, разумеется, Катерина Архиповна сейчас спросит о вас, а она, миленькая этакая, как цветочек какой, тотчас и вспыхнет.

– Вы когда к ним пойдете, Татьяна Ивановна? – спросил Хозаров.

– Право, не знаю, Катерина Архиповна ужасно просит бывать у них почаще; сегодня думаю вечерком сходить, показать им одной моей знакомой продажную брошку; недавно

еще подарена ей, да не нравится фасон.

– А что, если б я попросил вас сделать для меня большое-пребольшое одолжение?

– Что такое?

– Вот дело в чем: надобно же узнать решительно, любит ли она меня или нет?

– Объяснитесь.

– Объясниться я не могу, потому что мне решительно не удастся говорить с ней. Эти две старшие дуры, Пашет и Анет, просто атакуют меня, и я вот что выдумал: недели две тому назад она спросила меня, чем я занимаюсь дома. Я говорю, что дневник писал. Она, знаете, немного сконфузившись, вдруг начала меня просить, чтобы я его показал ей; я обещался; дневника, впрочем, у меня никакого не бывало никогда; однако, придя домой, засел и накатал за целые полгода; теперь только надобно передать. Возьмитесь-ка, передайте.

– А что вы в дневнике написали?

– Ничего особенного. Пишу, как я увидел ее, полюбил, записаны все ее слова.

– Ведь вы этак ее, Сергей Петрович, совсем погубите! – возразила Татьяна Ивановна. –

Это ужасно для девушки получить такое письмо, особенно от человека, которого любит!

– Это не письмо, а дневник; тут она нигде прямо не называется.

– Догадается, Сергей Петрович, сейчас догадается.

– Конечно, догадается. Для того и написано, чтоб догадалась. Сделайте одолжение, Татьяна Ивановна, передайте.

– Ох, Сергей Петрович, в грех вы меня вводите.

– Не в грех, почтеннейшая, а в доброе дело, – возразил Хозаров.

– Конечно, про вас я не могу ничего сказать, – отвечала хозяйка, – вы имеете благородные намерения, а другие мужчины, ах! Как они бедных женщин жестоко обманывают.

Сергей Петрович между тем бережно поднял пресс-папье, изображающий легавую собаку, и, вынув из-под него чисто переписанную тетрадку, начал ее перелистывать.

– Почитайте, пожалуйста, Сергей Петрович, что вы тут написали.

– Нельзя, Татьяна Ивановна, тайна.

– Вот прекрасно! Да разве у вас может быть от меня тайна? Не пойду же, когда вы так поступаете.

– Ну, слушайте. Вот, например, начало: «Первого января я увидел в собрании одну девушку, в белом платье, с голубым поясом и с незабудками на голове».

– Это она самая; я ее видела в этом платье; еще, кажется, подол воланами отделан.

– Может быть; но слушайте: «Она меня так поразила, что я сбился с такта, танцуя с нею вальс, и, совершенно растерявшись, позвал ее на кадрили. Ах, как она прекрасно танцует, с какою легкостью, с какою грациею... Я заговорил с нею по-французски; она знает этот язык в совершенстве. Я целую ночь не спал и все мечтал о ней. Дня через три я ее видел у С... и опять танцевал с нею. Она сказала, что со мною очень ловко вальсировать. Что значат эти слова? Что хотела она этим сказать?..» Ну, довольно.

– Ах, какой вы плут! Вы просто обольститель! Почитайте, батюшка, почитайте еще.

– Да что вам любопытного?

– Почитайте, пожалуйста! Я очень люблю, как про любовь этак пишут.

– Ну, вот вам еще одно место: «Сегодня ночью я видел сон; я видел, будто она явилась ко мне и подала мне свою лилейную ручку; я схватил эту ручку, покрыл миллионами пламенных поцелуев и вдруг проснулся. О! Если бы, – сказал я сам с собою, – я вместе с Грибоедовым мог произнести: сон в руку! Я проснулся с растерзанным сердцем и написал стихи. Вот они:

*Прощай, мой ангел светлоокой!
Мне не любить, не обнимать
Твой гибкий стан во тьме глубо-
кой,
С тобой мне счастья не видать.
Я знаю, ты любить умеешь,
Но не полюбишь ты меня,
Мечту иную ты лелеешь;
Но буду помнить я тебя.
Ты мне явилась, как виденье,
Как светозарный херувим,
Но то прошло, как сновиденье,
И снова я теперь один.*

– Прекрасно! Бесподобно! – крикнула Татьяна Ивановна. – Батюшка Сергей Петрович,

спишите мне эти стишки!

– После, Татьяна Ивановна, после; я наизусть их знаю.

– Ну, что после, напишите теперь.

– Право, после, теперь лучше потолкуем о деле. Я запечатаю вам в пакет; вы поедете, хоть часу в седьмом, сегодня; ну, сначала обыкновенно посидите с Катериной Архипов-ной, а тут и ступайте наверх – к барышням. Она, может быть, сидит там одна, старшие все больше внизу.

– Это можно; я у них по всем комнатам захожу; они меня, признаться, с первого раза, как вы меня отрекомендовали, очень хорошо приняли. Будто сначала выйду в девичью, а там и пройду наверх.

– И прекрасно! Только что вы скажете? Как отдадите?

– Да что сказать? Скажу: от Сергея Петровича дневник, который вы просили. Не беспокойтесь, поймет...

– Конечно, поймет. Чудесно, почтеннейшая! Дайте вашу ручку, – сказал Сергей Петрович и крепко сжал руку друга-хозяйки.

– Только какой вы для женщин опасный

человек, – сказала Татьяна Ивановна после нескольких минут размышления, – из молодых, да ранний.

– А что? – спросил с довольною улыбкою постоялец.

– Да так. Вы можете просто женщину очаровать, погубить.

– Мясник, Татьяна Ивановна, пришел, – сказала Марфа, входя в комнату.

– Ах, батюшки! Как я с вами заболталась! Прощайте, я было за деньгами к вам приходила.

– Нет, почтеннейшая, ей-богу, нет.

– Ну нет, так и нет; пакет ваш теперь отдадите?

– Через час пришлю.

– Ну, хорошо, прощайте.

Выйдя от Хозарова, Татьяна Ивановна остановилась перед номером скрытного мишашки и несколько времени пробыла в раздумье; потом, как бы не выдержав, приотворила немного дверь.

– Придете обедать? – сказала она каким-то чересчур нежным голосом.

– Нет, – отвечал голос изнутри.

– Почему же?

– Ноты пишу.

– Ну вот уж с этими нотами! А чай придете пить?

– Нет, пришлите водки.

Татьяна Ивановна затворила дверь, вздохнула и прошла к себе, велев, впрочем, попавшейся навстречу Марфе отнести во второй номер водки.

Сергей Петрович, оставшись один, принялся писать к приятелю письмо, которое отчасти познакомит нас с обстоятельствами настоящего повествования и отчасти послужит доказательством того, что герой мой владел пером, и пером прекрасным. Письмо его было таково:

«Любезный друг, товарищ дня и ночи!

Я уведомлял тебя, что еду в Москву определяться в статскую службу; но теперь я тебе скажу философскую истину: человек предполагает, а бог располагает; капризная фортуна моя повернула колесо иначе; вместо службы, кажется, выходит, что я женюсь, и женюсь, конечно, как благородный человек, по стра-

сти. Представь себе, mon cher[2], невинное существо в девятнадцать лет, розовое, свежее, – одним словом, чудная майская роза; сношения наши весьма интересны: со мною, можно сказать, случился роман на большой дороге. Прошедшего года, в этой дурацкой провинции, в которой я имел глупость прожить около двух лет, я раз на бале встретил молоденькую девушку. Просто чудо, mon cher, как она меня поразила! В ней было что-то непохожее на других, что-то восточное, какая-то грезовская головка. Я с нею протанцевал несколько кадрилей и тут убедился, что она необыкновенно милое, резвое дитя, которое может нашего брата, ветерана, одушевить, завлечь, одним словом, унести на седьмое небо; однако тем и кончилось. Поехав в Москву из деревни, на станции съезжаюсь я с одним барином; слово за слово, вижу, что человек необыкновенно добродушный и даже простой; с первого же слова начал мне рассказывать, что семейство свое он проводил в Москву, что у него жена, три дочери, из коих младшая красавица, которой двоюродная бабушка отдала в приданое подмосковную в триста

душ, и знаешь что, mon cher, как узнал я после по разговорам, эта младшая красавица – именно моя грезовская головка! Я не мог удержаться и тогда же подумал: «О, судьба, судьба! Видно, от тебя нигде не уйдешь». Он снабдил меня письмом к его семейству, с которым я теперь уже и сошелся по-дружески, познакомясь вместе с тем и со всем их кружком. Дела идут недурно; одно только меня немного смущает, что у них каждый день присутствует какой-то жирный барин, Рожнов; потому что кто его знает, с какими он тут бывает намерениями, а лицо весьма подозрительное и неприятное.

Так-то, mon cher, я женюсь, и непременно женюсь! Да, мой друг, я теперь убедился, что наша прошлая жизнь – все пустяки! На что мы, холостяки, похожи? Грязь, грязь – и больше ничего! Нет ни одного отрадного явления, нет человека, с кем бы разделить чувства. Такое ли счастье человека, который сидит в прекрасном кабинете, сладко полудремлет, близ него милое, прелестное существо – вот это жизнь! Кроме сих и оных моих делишек, я здесь в порядочном кругу; особенно один дом

Мамиловых. Представь себе, аристократический тон во всем: муж – страшный богач, более полугода живет в южных губерниях и занимается торговыми операциями, жена – красавица и, говорят, удивительная фантазерка и философка. Теперь я с ними еще не так короток, но, однако, очень дорожу их знакомством и постараюсь сблизиться.

Прими уверение в совершенном моем почтении и преданности, с которыми и остаюсь покорный к услугам
Хозаров».

В зале, о которой упоминал Хозаров, за большим круглым столом, где помещался самовар с его принадлежностями, сидели Катерина Архиповна и ее семейство, то есть: Пашет, Анет и Машет. Впрочем, в среде этого семейства помещалось новое лицо, какой-то необыкновенно высокий мужчина, который, конечно, кинулся бы вам в глаза по своему огромному носу, клыкообразным зубам и большим серым, навывкате и вместе с тем ничего не выражающим глазам. По загорелому его лицу нетрудно было догадаться, что он недавно с дороги. Это подтверждалось и тем, что в комнате было расставлено несколько дорожных вещей. Катерина Архиповна, дама лет около пятидесяти, черноволосая, немного сердитая на вид и с довольно крупными чертами лица, была, кажется, в весьма дурном расположении духа. Две старшие дочери, Пашет и Анет, представляли резкое сходство с высоким мужчиной как по высокому росту, так и по клыкообразным зубам, с тою только разницею, что глаза у Пашет были, как и у

маменьки, – сухие и черные; глаза же Анет, серые и навывкате, были самый точный образец глаз папеньки (читатель, вероятно, уж догадался, что высокий господин был супруг Катерины Архиповны); но третья дочь, Машет, была совершенно другой наружности. Это была небольшого роста брюнетка с выразительными чертами лица, с роскошными волосами, убранными для вящего очарования а l'enfant[3], с черными и живыми глазами и с веселой улыбкой.

При внимательном, впрочем, наблюдении в девушке можно было заметить сходство с матерью, замаскированное, конечно, молодостью, здоровьем, невинностью и каким-то еще чуждым началом, не замечаемым ни в одном из членов семейства. Катерина Архиповна, как я прежде объяснил, была не в духе: как-то порывисто разлила она чай по чашкам и подала их дочерям, а предназначенный для супруга стакан даже пихнула к нему. Антон Федотыч Ступицын, имя родоначальника семейства, принял довольно равнодушно так невежливо препровожденный к нему стакан и принялся пить чай с большим аппетитом.

Отпив половину стакана, он потихоньку встал, взял трубку и закурил.

– Фу, батюшки, опять с своим куреньем, – сказала Катерина Архиповна, отмахивая от себя табачный дым.

– Ничего, душа моя, я так... немножко, – отвечал Антон Федотыч, тоже размахивая дым.

– Это у него ничего, как из трубы... Жили бы там себе в деревне и курили, сколько хотелось: так нет, надобно в Москву было приехать.

– Нельзя было, душа моя. Генерал просто меня прогнал; встретил в лавках: «Что вы, говорит, сидите здесь? Я, говорит, давно для вас место приготовил». Я говорю: «Ваше превосходительство, у меня хозяйство». – «Плюньте, говорит, на ваше хозяйство; почтенная супруга ваша с часу на час вас ждет», – а на другой день даже письмо писал ко мне; жалко только, что дорогою затерял.

В продолжение всей этой речи Катерина Архиповна едва сдержала себя.

– Я хочу вас, Антон Федотыч, спросить только одно: перестанете вы когда-нибудь лгать или нет?

– Что лгать-то, – отвечал немного смешавшийся Ступицын, – спроси Пиронова; при нем вся эта история была.

– Нечего мне Пиронова спрашивать; двадцать пятый год я, милый друг мой, вас знаю; перед кем-нибудь уж другим выдумывайте и лгите. Ну, зачем вы сюда приехали? Для какой надобности?

– Да ведь я тебе говорил, душа моя, что генерал...

– Не говорите вы мне, бога ради, про генерала и не заикайтесь про него, не сердите хоть по крайней мере этим. Вы все налгали, совершенно-таки все налгали. Я сама его, милостивый государь, просила; он мне прямо сказал, что невозможно, потому что места у них дают тем, кто был по крайней мере год на испытании. Рассудили ли вы, ехав сюда, что вы делаете? Деревню оставили без всякого присмотра, а здесь – где мы вас поместим? Всего четыре комнаты: здесь я, а наверху дети.

– Да много ли мне места надобно? Я вот хоть здесь...

– Скажите на милость: он здесь – в зале

расположится; одна чистая комната, он и в той дортуар себе хочет сделать. Вы о семействе никогда не думали и не думаете, а только о себе; только бы удовлетворять своим глупым наклонностям: наестся, выспаться, накурить полную комнату табаком и больше ничего; ехать бы потом в гости, налгать бы там что-нибудь – вот в Москву, например, съездить. Сделали ли вы хоть какую-нибудь пользу для детей, выхлопотали, приобрели ли что-нибудь?

– Да я думал... – начал было Антон Федотыч.

– Ничего вы не думали, – перебила Катерина Архиповна, – солгали где-нибудь, что в Москву едете, да после и стыдно было отказаться.

Последние слова очень сконфузили Ступицына.

– Мне нечего стыдиться, – проговорил он.

– Знаю, что вы давно стыд-то потеряли. Двадцать пятый год с вами маюсь. Все сама, везде сама. На какие-нибудь сто душ вырастила и воспитала всех детей; старших, как помоложе была, сама даже учила, а вы, отец се-

мейства, что сделали? За рабочими не хотите хорошенько присмотреть, только конфузите везде. Того и жди, что где-нибудь в порядочном обществе налжете и заставите покраснеть до ушей.

– Бранитесь, бранитесь, как хотите; эту песню я уже двадцать пять лет слушаю, – проговорил, махнув рукой, Антон Федотыч.

– Да вы хоть кого из терпения выведете, – возразила Катерина Архиповна. – Не сиделось вам в деревне, в Москву прискакали; на почтовых, я думаю, ехали. Вот я просмотрю оборочный счет. Привезли ли счет-то по крайней мере?

– Привез; сто рублей всего собрано.

– Знаю я вас, милостивый государь, сто рублей. Я, впрочем, усчитаю. Хоть бы вы то рассудили: что я, для удовольствия, что ли, живу здесь?

– Кто вас знает, зачем вы здесь живете.

– Как же – для любовников! Посмотрите-ка, сколько их в пятьдесят-то лет завела. Скажите на милость: он не знает, зачем я здесь живу! Знаете ли по крайней мере, что у нас в Москве тяжба? Это-то вы хоть знаете ли?

– Конечно, знаю.

– Так что же-с, вам, что ли, мне поручить хлопотать? Фамилию свою хорошенько не умеете подписать.

– Вы уж очень учены; где нам! – возразил Антон Федотыч.

– Конечно, лучше вашего все понимаю; как угорелая езжу по добрым знакомым да кланяюсь и прошу, чтоб растолковали да научили. Вот с завтрашнего дня все Вам передам: хлопочите, ходатайствуйте. Слава богу, свой стряпчий приехал, можно успокоиться: обде-
лает дело.

– Я военный человек, статских дел не знаю.

– Скажите, какой воин, – ветеран заслуженный; много ли изволили ран получить? В каких сражениях были?

– Ругайтесь, как хотите ругайтесь, я уж не стану и говорить, – произнес со вздохом Антон Федотыч и опять махнул рукой.

– Ну, думала, – продолжала Катерина Архиповна: – приехала в Москву, наняла почище квартиру, думала, дело делом, а может быть, бог приведет и дочерей устроить. Вот тебе те-

перь и чистота. Одними окурками насорит все комнаты. Вот в зале здесь с своим прекрасным гардеробом расположится, – принимай посторонних людей. Подумали ли вы хоть о гардеробе-то своем? Ведь здесь столица, а не деревня; в засаленном фраке – на вас все пальцем будут показывать.

– Что мне гардероб-то, ведь я не молоденький, – возразил Антон Федотыч.

– Да вы отец семейства; по вашей наружности будут судить и о прочих.

– Я сошью себе фрак; всего сто рублей.

– Конечно, как вам не сшить? Сто рублей для вас пустяки. Вместо того чтобы жить в деревне да сколачивать копейку, чтобы как-нибудь, да поблагороднее, поддерживать семейство, – не тут-то было: в Москву прискакал, франтом хочет быть; место он приехал получать. Вот, не угодно ли? Есть свободное: в нашей будке будочник помер.

– Ну, бог с тобой, расписывай, – проговорил уже потерявший совсем терпение Антон Федотыч, махнул рукой, вздохнул и вышел из комнаты на крыльцо.

Здесь я должен заметить, что всю предыду-

щую сцену между папенькой и маменькой две старшие дочери, Пашет и Анет, выслушивали весьма хладнокровно, как бы самый обыкновенный семейный разговор, и не принимали в нем никакого участия; они сидели, поджав руки: Анет поводила из стороны в сторону свои большие серые глаза, взглядывая по временам то на потолок, то на сложенные свои руки; Пашет свои глаза не поводила, а держала их постоянно устремленными на маменьку или на лежавший около нее белый хлеб – доподлинно я не знаю; одна только Машет волновалась родительскою размолвкою, или по крайней мере ей было это скучно.

Все, что ни говорила Катерина Архиповна своему супругу, все была самая горькая истина: он ничего не сделал и не приобрел для своего семейства, дурно присматривал за рабочими, потому что, вместо того чтобы заставлять их работать, он начинал им обыкновенно рассказывать, как он служил в полку, какие у него были тогда славные лошади и тому подобное. Генерала он только видел, но тот ему ни слова не говорил о месте; а приехал в Москву единственно потому, что, быв в

одной холостой у казначея компании и выпив несколько рюмок водки, прихвастнул, что он на другой же день едет к своему семейству в Москву, не сообразя, что в числе посетителей был некто Климов, его сосед, имевший какую-то странную привычку ловить Антона Федотыча на словах, а потом уличать его, что он не совсем правду сказал. Услышав, что Ступицын возвестил о поездке в Москву, сосед не упустил случая и возгласил во всеуслышание: «Солгал, брат Антоша, не поедешь ты в Москву». – «Это уж представьте мне лучше знать», – возразил уклончиво Ступицын. – «Опять повторяю при всей честной компании: не поедешь ты в Москву», – проговорил еще громче Климов. – «А вот увидим», – отвечал опять уклончиво Ступицын. – «Нечего тут видеть, а вот что, – продолжал Климов, – ты сказал, что завтра поедешь; завтра, брат, я сам еду в Москву; едем вместе, и вот пари: поедешь – моя дюжина шампанского, не поедешь – твоя!» – «Идет», – отвечал Ступицын, и тут же два соседа ударились по рукам. На другой день Ступицын пораздумал и уже решился было потихоньку уехать в деревню;

но Климов приехал к нему со всей честной компанией. Не ехать, значит, надобно было отдать пари. «Что будет, то будет, лучше поеду», – подумал Антон Федотыч. К этому решению его еще более подстрекали имевшиеся в кармане сто рублей, привезенные было для отправления к супруге.

Климов проиграл: Антон Федотыч, сильно подгуляв, поехал с ним в Москву.

Для большего уяснения характера этого человека, я должен сказать, что Ступицын вовсе не мог быть отнесен к тем неприличным лгунам, которые несут бог знает какую чушь, ни с чем несообразную. Напротив того, он говорил весьма сбыточные и обыкновенные вещи, но только они с ним не случались и не могли даже случаться. Судьба, или, лучше сказать, Катерина Архиповна, держала его, как говорится, в ежовых рукавицах; очень любя рассеяние, он жил постоянно в деревне и то без всяких комфорта, то есть: ему никогда не давали водки выпить, что он очень любил, на том основании, что будто бы водка ему ужасно вредна; не всегда его снабжали табаком, до которого он был тоже страстный

охотник; продовольствовали более на молочном столе, тогда как он молока терпеть не мог, и, наконец, заставляли щеголять почти в единственном фраке, сшитом по крайней мере лет шестнадцать тому назад. Всем этим лишениям Антон Федотыч покорялся терпеливо и не предпринимал ничего к выходу из подобного положения. Невинным и единственным его развлечением было то, что он, сидя в своей комнате, создавал различные приятные способы жизни, среди которых он мог бы существовать: например, в одно холодное утро, на ухарской тройке, он едет в город; у него тысяча рублей в кармане; он садится играть в карты, проигрывает целую ночь. На другой день зовет к себе гостей; до приезда еще их выпивает крепкой очищенной водки. Друзья съезжаются, он угощает их превосходным обедом с шампанским и с мороженым; вечером заставлял играть своих музыкантов, которых у него тридцать человек. Пошалив таким образом, на другой день принимается за дело: ходит по постройкам, а вечером пишет письма в Петербург, чтобы ему выслали четыре ящика вина, – словом, живет на широ-

кую ногу, русским барином. Все такого рода мечтания так укоренялись в голове Ступицына, что он сам начинал в них верить, как в действительность, и очень любил их высказывать себе подобным; но, увы! Эти себе подобные, если они хоть немного знали Антона Федотыча, не говоря уже о семейных, эти себе подобные обрезавали его на первом слове: «Полно, брат, врать, Антон Федотыч», «Замолчи вы, Антон Федотыч». Более же деликатные, особенно из дам, отходили от него обыкновенно в самом начале разговора. Были и такие проказники, которые говорили: «Поври что-нибудь, Антон Федотыч». – «Сами извольте врать», – отвечал добросердый Ступицын.

Катерина Архиповна была прекрасная семьянинка, потому что, несмотря на все неуважение к мужу, которого она считала самым пустым и несносным человеком в мире, сохранила свою репутацию в обществе и, по возможности, старалась скрыть между посторонними людьми недостатки супруга; но когда он бывал болен, то даже сама неусыпно ухаживала за ним. Пиля его, как говорится, каждодневно, она всегда относилась к нему

во втором лице множественного числа и прибавляла частичку «с». Кроме того, надобно отдать ей честь, она была самая расчетливая и неутомимая хозяйка и добрая мать: при весьма ограниченных средствах, она умела жить чистенько и одевала дочерей хотя не богато, но, право, весьма прилично. Двух старших она любила так себе, посредственно, но младшая была ее идол; для нее она готова была принести в жертву двух старших дочерей, мужа, все свое состояние и самое себя. Над всеми и над всем она была госпожой в доме и только в отношении Мари делалась рабою, и рабою беспрекословною. Постоянные хлопоты по хозяйству, о детях, вечная борьба с нуждою, каждодневные головомойки никуда не годному супругу – все это развило в Катерине Архиповне желчное расположение и значительно испортило ее характер; она брюзжала обыкновенно целые дни то на людей, то на дочерей, а главное – на мужа. Две старшие дочери, Пашет и Анет, очень любили новые платья, молодых мужчин и питали самое страстное желание выйти поскорее замуж; кроме того, они были очень завистливого ха-

рактера. Анет, как и папенька, любила сказать красное словцо, Пашет же была очень молчалива и наследовала от папеньки только сильный аппетит. Обе эти девицы были влюблены по нескольку раз, хотя и не совсем с успехом; маменьки они боялись, слушались ее и уважали; вследствие того и в отношении папеньки разделяли вполне ее мнение, то есть считали его совершенно за нуль и только иногда относились к нему с жалобами на младшую, Машет, которую обе они терпеть не могли, потому что она была идолом маменьки, потому что ей шили лучшие платья и у ней было уже до пятка женихов, тогда как им не досталось еще ни одного. Что касается до Мари, то она, по словам Катерины Архиповны, еще не сформировалась, была совершенный ребенок и несколько месяцев только перестала играть в куклы и начала читать романы.

Антон Федотыч, которого мы оставили на крыльце, все еще сидел там и не входил в комнату. Средство это он, особенно в холодное время года, употреблял издавна и всегда почти для себя с успехом. Во-первых, уходя на

крыльцо, он удалялся от супруги; во-вторых, освежался на воздухе от головной боли и, наконец, в-третьих, возбуждал к себе в Катерине Архиповне участие. Спустя четверть часа она обыкновенно говорила: «Что, сумасшедший-то там стоит? Простудится еще: эй, девочка, мальчик! Подите скажите барину, что он там стоит?» Барину сказывали, и он возвращался торжествующий и спокойный, потому что Катерина Архиповна после этого обыкновенно его уже не журила и даже иногда говорила, чтобы он выпил водки. В настоящее время Катерина Архиповна, видно, очень рассердилась; прошло уже более четверти часа, как Ступицын сидел на рундучке крыльца, а она не высылала; Антону Федотычу становилось очень холодно; единственный предмет его развлечения – луна – скрылась за облаками. Вдруг в темноте послышались шаги.

– Ах! – вскрикнул вслед за тем женский голос.

– Ух, черт возьми! – произнес с своей стороны Ступицын, схватившись за живот, в который ударилась чья-то нога.

– Кто это? – повторил тот же голос.
– А ты кто? – спросил Ступицын.
– Я пришла к знакомым моим, – сказал женский голос. – Вы здешний?
– Здешний. Кого вам надо?
– Катерину Архиповну.
– Жену мою?
– Вы супруг Катерины Архиповны?
– Точно так.
– Ах, боже мой, извините, я очень хорошая знакомая Катерины Архиповны. Честь имею рекомендоваться: Татьяна Ивановна Замшева.

– Позвольте и мне, с своей стороны, представиться: Антон Федотыч Ступицын. Что мы здесь стоим? Милости прошу!

Хозяин и гостя вошли в залу, в которой никого уже не было. Татьяна Ивановна и Антон Федотыч смотрели несколько времени друг на друга с некоторым удивлением. Обоих их поразили некоторые странности в наружности друг друга. Антону Федотычу кинулись в глаза необыкновенные рябины Татьяны Ивановны, а Татьяна Ивановна удивлялась клыкообразным зубам и серым, навыка-

те глазам Ступицына. Оба простояли несколько минут в молчании.

– Могу ли я видеть почтеннейшую Катерину Архиповну? – проговорила Татьяна Ивановна.

– Не знаю-с; она там у себя. Я сейчас спрошу, – отвечал Ступицын и вышел. К супруге, впрочем, он не пошел, но, постояв несколько времени в темном коридоре, вернулся.

– Она чем-то занята, милости прошу садиться, – проговорил он и, указав гостье место, сам сел на диван.

– По семейству, вероятно, соскучились и изволили приехать повидаться? – начала Татьяна Ивановна.

– Да, повидаться захотелось, – отвечал Антон Федотыч, – раньше нельзя было; у меня нынче летом были большие постройки: тысяч на шесть построил.

– На шесть тысяч?

– Почти на шесть. Два скотных двора на каменных столбах – тысячи в две каждый, да кухню новую построил в пятьсот рублей. Нельзя, знаете, усадьба требует поддержек.

– Без всякого сомнения; однако у вас и

усадыба должна быть отличная.

– Изрядная. Хлебопашество, главное дело, в хорошем виде: рожь родится сам-десять, это, не хвастаясь, можно сказать, что я устроил. Прежде, бывало, как сам-пят придет, так бога благодарили.

– Скажите, что значит хозяйство.

– Хозяйство вещь важная, глубокомысленная в то же время, – сказал Ступицын.

– Нынче без ума нигде нельзя, – заметила Татьяна Ивановна.

Разговор на несколько минут остановился.

– Да это бы ничего, – начал опять Ступицын, – за хозяйством бы я не остановился, да баллотировка была, так, знаете, нельзя.

– Вы изволили баллотироваться?

– Нет, то есть меня очень просили в предводители, да не мог – отказался.

– Отчего же это не захотели послужить?

– Нельзя-с, семейные обстоятельства; впрочем, на одном обеде мне очень выговаривали... совестно, а делать нечего.

– Конечно, Антон Федотыч, в семействе иногда и не хочешь, а делаешь.

– Не иногда, а всегда. Вы имеете детей?

– Я девица.

– А батюшка жив?

– Помер. Я живу одна – сиротой... Каковы дороги?

– Кажется, хороши: шоссе отличное, а проселков я почти и не заметил. У меня очень покойный экипаж.

– Бричка, верно?

– Нет, коляска; совершенная люлька; прочности необыкновенной, и, вообразите, я ее купил у соседа за полторы тысячи и вот уже третий год езжу, ни один винт не повредился.

– Приятно в таких экипажах ездить, – заметила Татьяна Ивановна. – Вот мне здесь случилось с знакомыми ездить, так просто прелесть. Нынче, я думаю, этаких экипажей прочных не делают.

– Есть и нынче, только дороги. Нынче, впрочем, все вздорожало. Вот хоть бы взять с поваров: я платил в английском клубе за выучку повара по триста рублей в год; за три года ведь это девятьсот рублей.

– Легко сказать: девятьсот рублей! Впрочем, я думаю, и повар вышел отличный?

– Бесподобный. Он у нас теперь в деревне;

так вот беда: захочешь иногда этакий для знакомых сделать обедец, закажешь ему, придет: «Вся ваша воля, говорит, я не могу: запасов нет». Мы думаем его сюда привезти. Вот здесь он покажет себя; милости прошу тогда к нам отобедать.

– Покорнейше вас благодарю, я уж и так много обласкана вниманием Катерины Архиповны. А я заговорила и не спросила: здоровы ли Прасковья Антоновна, Анна Антоновна и Марья Антоновна?

– Слава богу. Я, признаться сказать, очень рад, что они сюда переехали, а то в деревне от женихов отбою нет.

– Ну, этим для родителей тяготиться нечего.

– Даша! – послышался голос Катерины Архиповны. – Где барин?

– В зале, с Татьяной Ивановной разговаривают, – отвечала горничная.

– Теперь, я думаю, можно к Катерине Архиповне? – спросила гостья.

– Можно, я думаю, – отвечал Антон Федотыч, остановленный голосом супруги.

Татьяна Ивановна ушла. Антон Федотыч

сидел несколько минут в каком-то приятном довольстве от того, что успел себя показать новому лицу и еще даме. Посидев несколько времени, он вдруг встал, осмотрел всю комнату и вынул из-под жилета висевший на шее ключ, которым со всевозможною осторожностью отпер свой дорожный ларец, и, вынув оттуда графин с водкою, выпил торопливо из него почти половину и с теми же предосторожностями запер ларец и спрятал ключ, а потом, закурив трубку, как ни в чем не бывало, уселся на прежнем месте.

Подобного рода контрабанду Антон Федотыч употреблял в своей безотрадной жизни при всяком удобном случае, то есть когда у него случалось хоть сколько-нибудь денег. Для этой, собственно, цели имел он особую шкатулку, которую тщательно запирали и никому не показывали, что в ней хранится.

Татьяна Ивановна, войдя к хозяйке, которая со всеми своими дочерьми сидела в спальне, тотчас же рассыпалась в разговорах: поздравила всех с приездом Антона Федотыча, засвидетельствовала почтение от Хозарова и затем начала рассказывать, как ее од-

нажды, когда она шла от одной знакомой вечером, остановили двое мужчин и так напугали, что она после недели две была больна горячкою, а потом принялась в этом же роде за разные анекдоты; описала несчастье одной ее знакомой, на которую тоже вечером кинулись из одного купеческого дома две собаки и укусили ей ногу; рассказала об одном знакомом ей мужчине – молодце и смельчаке, которого ночью мошенники схватили на площади и раздели донага.

– Ах, какие вы ужасы рассказываете, – сказала Катерина Архиповна.

– Как же вы от нас пойдете? – заметила Мари.

– А как бог приведет; признаться сказать, очень потрушиваю, да уж повидаться очень хотелось, – отвечала Замшева.

– Вы извозчика возьмите, – сказала хозяйка.

– Ай, нет, Катерина Архиповна, ни за что в свете, – возразила гостья и здесь рассказала происшествие, случившееся с одною какой-то важною дамою, которая ехала домой на извозчике и которую не только обобрали, но

даже завезли в такой дом, о котором она прежде и понятия не имела. После этого рассказа ужас овладел всеми дамами.

– Хорошо, что мы никогда на извозчиках не ездим, – сказала мать. – Когда мы выезжаем, – прибавила она, обращаясь к Татьяне Ивановне, – то знакомые обыкновенно на своих лошадях нас возят.

– Мамаша! Татьяну Ивановну, пожалуй, оберут, – сказала Мари, принимавшая больше всех участия в гостье, – она бы у нас ночевала.

– В самом деле, ночуйте у нас, – проговорила хозяйка, – да только где?

– У меня в комнате, – отвечала Машет.

– Ах, боже мой, что вы беспокоитесь; мне, право, очень совестно, что доставляю столько хлопот, – отвечала жеманно Татьяна Ивановна. – Какой у вас ангельской доброты Марья Антоновна! – прибавила она вполголоса Катерине Архиповне.

– Очень добра, – отвечала мать, с удовольствием глядя на дочь. – Вы ночуете в ее комнате; у ней наверху особый кабинетик.

– Ночую, Катерина Архиповна, – отвечала Татьяна Ивановна, – я очень боюсь идти.

Перед ужином Антон Федотыч вошел, наконец, в комнату жены и уселся на отдаленное кресло. Впрочем, он ничего не говорил и только, облизываясь языком, весело на всех поглядывал. Заветный ящик еще раз им был отперт.

– Что это глаза у вас какие странные? – заметила Катерина Архиповна.

– Ветром надуло, – отвечал Антон Федотыч.

За ужином Катерина Архиповна ничего не ела, потому что все еще была расстроена. Машет отучили ужинать в пансионе; Анет никогда не имела аппетита, а Татьяна Ивановна отказывалась из деликатности. Одна только Пашет с папенькой ратоборствовали: они съели весь почти суп, соус, жареное и покончили даже хлеб и огурцы. После ужина барышни и Татьяна Ивановна, простившись с хозяевами, отправились наверх. Антону Федотычу, впредь до дальнейших распоряжений, повелено было спать в зале на диване, с строжайшим запрещением сорить. Пашет и Анет, не простившись с сестрою, ушли к себе наверх в общую их спальню. Татьяне Ивановне было постлано в кабинете Мари на кушетке.

Гостья за причиненные хлопоты еще раз извинилась перед Катериною Архиповною, которая не утерпела и пришла поцеловать и перекрестить своего идола.

– Ах, какие вы, Марья Антоновна, хорошенькие, – сказала Татьяна Ивановна, когда девушка разделась.

Та, улыбнувшись, прыгнула в постель и начала укутываться в теплое одеяло.

– Я к вам с поручением, – начала Татьяна Ивановна, подойдя к кровати. – Я принесла вам от Сергея Петровича дневник, который вы просили, – прибавила она, подавая конверт.

Мари сначала с каким-то испугом взглянула на посредницу, а потом, вся вспыхнув, схватила пакет и спрятала его под подушки.

Татьяна Ивановна хотела было говорить, но Мари показала ей на соседнюю комнату и приложила в знак молчания пальчик к губам. Татьяна Ивановна поняла, что это значит: она кивнула головой, отошла от кровати и улеглась на своем ложе. Прошло более часа в совершенном молчании. Татьяне Ивановне показалось, что Мари заснула, ее самое начал

сильно склоняют сон. Вдруг видит, что девушка, потихоньку встав с постели, начала прислушиваться; Татьяна Ивановна захрапела. Мари, видно, этого и поджидавшая, потихоньку встала с постели, вынула из-под подушек дневник и на цыпочках подошла к лампаде. Дрожащими руками она распечатала пакет, поцеловала тетрадку и быстро начала читать. С каждой строчкою волнение ее увеличивалось; щеки ее то бледнели, то горели ярким румянцем. Она, кажется, готова была заплакать. Дочитав до конца, она схватила себя за голову и потом снова начала перечитывать. В середине тетрадки, а именно на том самом месте, как могла заметить Татьяна Ивановна, где были написаны знакомые нам стихи, она еще раз поцеловала листок. Прочитав другой раз, девушка опять на цыпочках подошла к своей кровати и улеглась в постель; но не прошло четверти часа, она снова встала и принялась будить Татьяну Ивановну, которая, будто спросонья, открыла глаза.

– Возьмите, – сказала шепотом Мари, подавая ей тетрадку.

– А что же? – спросила Татьяна Ивановна.

- Здесь сестрицы найдут.
- Да вы сами-то напишите ему что-нибудь.
- Не могу.
- Так что же мне ему сказать?
- Скажите, что mercі.[4]

Проговоря это, девушка сунула дневник под подушку Татьяне Ивановне и тотчас же улеглась в постель.

«Какая миленькая и умненькая девушка», – проговорила сама с собою Татьяна Ивановна и совершенно осталась довольна своим успехом: она все видела и все очень хорошо поняла.

Возвратившись домой ранним утром, девица Замшева тотчас же разбудила своего милашку Сергея Петровича и пересказала ему все до малейшей подробности и даже с некоторыми прибавлениями.

Четвертого декабря, то есть в Варварин день, Хозаров вместе с Татьяною Ивановною был в больших хлопотах: ему предстоял утренний визит с поздравлением и танцевальный вечер в доме Мамиловых, знакомством которых он так дорожил. Туалетом своим он занялся с самого утра, в чем приняла по своей дружбе участие и Татьяна Ивановна. Первая забота Хозарова была направлена на завивку волос, коими уже распорядилась не Марфа, а подмастерье от парикмахера, который действительно и завил мастерски. Девушка Замшева, исполненная дружеских чувствований к Хозарову, несмотря на свойственную ей полустыдливость, входила во все подробности мужского туалета.

– Что хотите, Сергей Петрович, – говорила она, – а сорочка нехороша: полотно толсто и сине; декос гораздо был бы виднее.

– Какие вы, Татьяна Ивановна, говорите несообразности! – возразил Хозаров. – Кто же носит декос?

– Все носят: я жила в одном графском доме,

там везде декос.

– Ошибаетесь, почтеннейшая, верно, ба-
тист: это другое дело.

– Слава богу, уж этого-то мне не знать, про-
сто декос, – декос и на графе, – декос и на гра-
фине.

– Заблуждаетесь, почтеннейшая, и сильно
заблуждаетесь. Голландское полотно лучше
всего.

– Лучше бы вы, Сергей Петрович, не гово-
рили мне про полотно, – возразила Татьяна
Ивановна, – полотно – полотно и есть: ника-
кого виду не имеет... В каком вы фраке поезде-
те? – спросила она после нескольких минут
молчания, в продолжение коих постоялец ее
нафабривал усы.

– Разумеется, в черном, – отвечал тот.

– Наденьте коричневый; вы в том наряд-
нее, да у черного у вас что-то сзади оттопыри-
вает.

– Нет, почтеннейшая, вы в мужском наря-
де, извините меня, просто ничего не понима-
ете, – сказал Хозаров. – Нынче люди порядоч-
ного тона цветное решительно перестают но-
сить.

– Что и говорить! Вы, мужчины, очень много понимаете, – отвечала Татьяна Ивановна, – а ни один не умеет к лицу одеться. Хотите, дам булавку; у меня есть брильянтовая.

– Нет, не нужно; а лучше дайте мне денег хоть рублей десять; не шлют, да и только из деревни, – что прикажете делать! Нужно еще другие перчатки купить.

– Право, нет ни копейки.

– Ни-ни-ни, почтеннейшая, не извольте этого и говорить.

– Да мне-то где взять, проказник этакий? – говорила Татьяна Ивановна, опуская, впрочем, руку в карман.

– Очень просто: взять да вынуть из кармана, – отвечал постоялец.

– Ах, какой вы уморительный человек, – сказала она, пожав плечами, – какие вам послать? – прибавила она.

– К Лиону, почтеннейшая, к Лиону: в два целковых, – отвечал тот.

– Хорошо. Скоро будете одеваться?

– Сейчас.

– Ну, так прощайте.

– Adieu, почтеннейшая!

– Зайдете показаться одетые?

– Непременно.

– А туда зайдете?

– Нет.

– Прекрасно... очень хорошо! Ах, вы, мужчины, мужчины, ветреники этакие; не стойте, чтобы вас так любили. Сегодня же пойду и насплетничаю на вас.

– Ну нет, почтеннейшая, вы этого не делаете.

– То-то и есть, испугались! А в самом деле, что сказать? Я сегодня думаю сходить... Катерина Архиповна очень просила прийти помочь барышням собираться на вечер. Она сегодня будет в розовом газовом и, должно быть, будет просто чудо! К ней очень идет розовое.

– Вы скажите, почтеннейшая, что я целый день сегодня мечтаю о бале.

– Хорошо... Впрочем, вы, кажется, все лжете, Сергей Петрович.

– Вот чудесно!.. Не дай бог вам, Татьяна Ивановна, так лгать. Я просто без ума от этой девочки.

– Ну, уж меньше, чем она, позвольте ска-

зять; она не говорит, а в сердце обожает. Прощайте.

– Adieu, почтеннейшая; да кстати, пошлите извозчика нанять.

– Какого?

– Пошлите к Ваньке Неронову; он у Тверских ворот стоит; рыжая этакая борода; или постойте: я к нему записочку напишу.

«Иван Семеныч! Сделай, брат, дружбу, пришли мне на день сани с полостью, и хорошо, если бы одолжил серого рысака, в противном же случае – непременно вороную кобылу, чем несказанно меня обяжешь. – Хозаров.

P.S. О деньгах, дружище, не беспокойся, на следующей неделе разочтусь совершенно».

Взяв эту записочку и еще раз попросив постояльца зайти и показаться одетым, Татьяна Ивановна ушла. Хозаров между тем принялся одеваться. Туалет продолжался около часа. Натянув перчатки и взяв шляпу, Хозаров начал разыгрывать какую-то мимическую сцену. Сначала он отошел к дверям и начал от них подходить к дивану, прижав обеими ру-

ками шляпу к груди и немного и постепенно наклоняя голову; потом сел на ближайший стул, и сел не то чтобы развалясь, и не в струнку, а свободно и прилично, как садятся порядочные люди, и начал затем мимический разговор с кем-то сидящим на диване: кинул несколько слов к боковому соседу, заговорил опять с сидящим на диване, сохраняя в продолжение всего этого времени самую приятную улыбку. Посидев немного, встал, поклонился сидящему на диване, кинул общий поклон прочим, должно быть, гостям, и начал выходить... Прекрасно, бесподобно! Это была репетиция грядущего визита, и она, как видит сам читатель, удалась моему герою как нельзя лучше.

В доме Мамиловых, тоже с раннего утра, происходили хлопоты: натирали воском полы, выбивали мебель, заливали маслом кенкетки[5], вставляли в люстру свечи, официант раскладывался в особо отведенной комнате с своею посудю. В одной только спальне хозяйки происходила не совсем праздничная сцена: Варвара Александровна Мамилова, по словам Хозарова, красавица и философка, в

утреннем капоте и чепчике, сидела и плакала; перед ней лежало развернутое письмо и браслет. Варвара Александровна, дама лет около тридцати, действительно была хорошенькая; по крайней мере имела очень нежные черты лица, прекрасные и чисто небесного цвета голубые глаза; но главное – она владела удивительно маленькой и как бы совершенно без костей ручкою и таковыми же ножками. Лежавшее перед ней письмо было от мужа, от этого страшного богача, занимающегося в южных губерниях торговыми операциями, и оно-то заставило именинницу плакать. «Поздравляю вас, друг мой Варвара Александровна, – писал супруг, – со днем вашего ангела и посылаю вам какой только мог найти лучший браслет, а вместе с тем вынужденным нахожусь, хотя это будет вам и неприятно, высказать мое неудовольствие. Начну с прошедшего. Во-первых, заискивали во мне вы, а не я в вас; во-вторых, в самый день сватовства я объяснил, что желаю видеть в жене только семьянинку, и вы поклялись быть такой; я, сорокапятилетний проstack, поверил, потому что и вам уже было за

двадцать пять; в женихах вы не зарылись; кроме того, я знал, что вы не должны быть избалованы, так как жили у вашего отца в положении какой-то гувернантки за его боковыми детьми, а сверх того вы и сами вначале показывали ко мне большую привязанность; но какие же теперь всего этого последствия? Через какой-нибудь год вы заболели нервной болезнью, хотя по лицу этого совершенно было незаметно, и начали ко мне приступать, чтобы я переехал с вами в Москву, – я и это сделал. Столичный воздух пришелся вам как нельзя лучше по комплекции: с другой же недели мы стали ездить по собраниям и по театрам. Такого рода жизнь, хотя была и убыточна, но при мне позволительна, теперь же другое дело: вы живете одни и повторяете то же самое и без меня; открыли даже в вашем доме, как я слышал, на целую зиму вечера и в два месяца прожили пять тысяч рублей. Во избежание всего этого, с будущей весны, то есть по окончании квартирного контракта, я намерен переехать с вами на постоянное житье в К., где сосредоточу все мои дела. Целую вас, пребываю – такой-то...»

Вот какое было поздравительное письмо страшного богача, и, конечно, всякий согласится, что это дерзкое и оскорбительное послание могло заставить плакать даму и с более крепкими нервами, чем Варвара Александровна. Сначала она бросила было на пол присланный ей в подарок браслет и велела отказать официанту, которому заказан был вечер, но потом, проплакавшись, распорядилась снова о вечере и подняла с полу браслет, а часу в первом, одевшись, и одевшись очень мило и к лицу, надела даже и браслет и вышла в гостиную, чтобы принимать приезжающих гостей с поздравлением. Впрочем, впечатление письма было, видно, довольно сильно, потому что, как Варвара Александровна ни старалась переломить себя, все-таки оставалась несколько грустна и взволнованна. Все почти перебивали у ней из ее круга; был и Бобырев, образованный купец, и статский советник Желюзов, и приезжали трое офицеров вместе; наконец, прислала и Катерина Архиповна своего супруга поздравить именинницу.

Антон Федотыч, вымытый, выбритый, на-

помаженный и весь, так сказать, по воле супруги, обновленный, то есть в новой фракной паре, в жилете с иголки и даже в новых сапогах, не замедлил показать себя новой знакомой, и на особый вопрос, который Варвара Александровна сделала ему о Мари, потому что та нравилась ей более из всего семейства, он не преминул пояснить, что воспитание Мари стоило им десять тысяч.

После всех приехал мой герой Хозаров. Мило было посмотреть, как вошел молодой человек в своем черном фраке, бархатном жилете и лакированных сапогах! Какие у него были прекрасные перчатки; как свободно, как даже грациозно он раскланялся, даже гораздо лучше, чем сделал это на репетиции. Кроме того, он был так свеж, такие имел миленькие усы, так кстати заговорил с хозяйкою о погоде, что, конечно, читатель мой, глядя на него, вы никак бы не догадались, что он выехал из номеров Татьяны Ивановны, по ее только великодушью имел перчатки и писал дружескую записку к извозчику о снабжении его экипажем: вы скорее бы подумали, что заговаривать по-французски и делать утренние визи-

ты его нарочно возили учиться в Париж. Родятся же люди с подобными светскими способностями! Ну, какое, например, особое получил воспитание мой герой? Сначала родители держали его в деревне, и то больше в девичьей или в лакейской; потом, на десятом или одиннадцатом году, отдали в корпус, где он почти самоучкой выучился немного говорить по-французски и в совершенстве овладел танцевальным искусством, — но ведь только и всего! Потом поступил он в полк, где, конечно, старался постоянно быть в хорошем обществе, и, стремясь закончить свое воспитание, читал очень много романов, и романов по преимуществу переводных, чтобы уже иметь окончательно ясное понятие о светско-европейской жизни.

Варвара Александровна в этот раз обратила на молодого человека должное внимание. Отличным танцором она знала его и прежде; но разговаривать с ним ей как-то еще не удавалось. Поговоря же с ним в настоящий визит, она увидела, что он необыкновенно милый и даже умный молодой человек, потому что Хозаров так мило ей рассказал повесть

Бальзака «Старик Горио», что заинтересовал ее этим романом до невероятности.

– Где вы сегодня обедаете? – спросила она гостя.

– Дома, – отвечал тот.

– Voulez-vous manger notre soupe?

– Aves grand plaisir, – отвечал Хозаров.

– Mais, outre ceta, passerez-vous avec nous la soiree?

– Votre tres-humble serviteur![6]

После приезжали еще кое-кто: являлся, между прочим, и толстяк Рожнов, внушавший такие опасения Хозарову, но никого хозяйка не удостоила приглашением на обед и звала только на простенький вечер.

Таким образом, Сергей Петрович и Варвара Александровна обедали почти вдвоем, в присутствии только весьма молчаливой экономки из немок.

Время шло очень приятно: хозяйка окончательно развеселилась и была очень любезна с гостем; беседа их, как водится между образованными людьми, началась о театре, о гуляньях, о романах и, наконец, склонилась

на любовь.

– Любви нет! – сказал Хозаров.

– Отчего же вы так думаете? – спросила хозяйка.

– Потому что женщины не умеют любить.

– Скажите лучше: мужчины не в состоянии чувствовать любви; они – эгоисты, грубы, необразованны; они в женщине хотят видеть себе рабу, которая только должна повиноваться им, угождать их прихотям и решительно не иметь собственных желаний, или, лучше сказать, совершенно не жить.

– Однакож мы видим, что все мужчины угождают женщинам?

– Да, это бывало во времена рыцарства, когда мужчины были нравственны, благородны, великодушны, храбры.

– Напротив... – возразил было Хозаров.

– А какими вы женитесь, господа? – перебила хозяйка. – Какими-то нравственными стариками, неспособными не только чувствовать, но даже понимать чувств! У вас в голове только дела и деньги! Вам дается молодое и свежее существо, которое стремится вас любить, жить любовью, но вы, – ах, боже мой! –

и говорить смешно, что вы видите в жене: комфорт, удобство, ключницу!.. Что же остается бедной женщине? С кем ей разделить свое сердце? Где истратить эту юную жизнь, которая кипит в ней?.. И вот она, разумеется, кидается в свет и начинает утешать себя мишурными пустяками: нарядами, балами, театрами, но разве может занять это ее ум и сердце? Она весела только по наружности, но внутри страдает. Но этого еще мало: вы, мужья, хотите отнять у них и эти воображаемые развлечения; вам жаль денег, которыми вы, по всем правам, должны бы были платить за отсутствие чувств; вы, господа, называете нас мотовками, ветреницами и оканчиваете тем, что увозите куда-нибудь в глушь, в деревню! И тогда прощай, бедное существо – оно заживо погребено.

– Я на это имею другой взгляд, – возразил Хозаров. – Женщины сами скрывают свои чувства; они сами холодны или притворяются такими. Я знаю одну девушку; она любит одного человека; он это знает верно; но до сих пор эта девушка себя маскирует: когда он написал к ней письмо, она прочитала, целовала

даже бесчувственную бумагу, но все-таки велела в ответ сказать одно холодное merci.

– Я не понимаю этого, – сказала Мамилова, – и думаю, что она не любит.

– Вы думаете?

– Даже уверена, потому что, когда женщина любит, она вся – откровенность; не чувствуя сама, она выскажется во всем: во взгляде, во всех своих поступках, даже в словах!

– Однакож это случилось!

– Не с вами ли?

– А если бы со мной?

– Жалею о вас!

– Почему?

– Потому что вас не любят.

– Может быть! По крайней мере я люблю.

– А если вы любите, так и спешите любить, не теряйте ни минуты; ищите, старайтесь нравиться, сватайтесь, а главное – не откладывайте в дальний ящик и женитесь. Пройдет время, вы растеряете все ваши чувства, мысли, всего самого себя; тогда будет худо вам, а еще хуже – вашей будущей жене.

– Я могу еще любить, – возразил Хозаров.

– Может быть, вы молоды... Сколько вам

лет?

– Двадцать семь.

– Да!.. Но только уж пора жениться – и очень пора!.. Пройдет год, другой, и вы будете похожи на других. Боже мой! – продолжала хозяйка одушевленным голосом. – Даже на самых первых порах брака какими вы бываете, мужчины! Вам скучны ласки этого юного существа, и вот – вы начинаете обманывать: жалуетесь на желчь, на сплин; но приезжает приятель, с которым какие-нибудь у вас есть дела, и сейчас все проходит; откуда является энергия, деятельность, потому что тут говорит ваша собственная корысть. Вы всеми вашими помышлениями посвящены только вашей меркантильной жизни, а жене остается один только труп, остов человека, без чувств, без мысли. Нашу любовь, нашу живость, нашу даже, если хотите, болтливость вы не хотите понять; называете это глупостями, ребячеством и на первых порах тушите огонь страсти, который горел бы для вас, и горел всю жизнь.

– Вы говорите все это весьма справедливо про браки, которые совершаются по расчету;

но другое дело – брак по страсти.

– Но где вы возьмете в сорок лет страсти, – возразила хозяйка, – когда уже вы в тридцать лет чувствуете, как говорят иные, разочарование? И что такое ваше разочарование? Это не усталость души поэта, испытавшей все в жизни; напротив, материализм, загрубелость чувств, апатия сердца – и больше ничего!

– В отношении разочарования я совершенно с вами согласен, – сказал Хозаров. – Это такая нелепость, которой я решительно не допускаю. – Последние слова герой мои произнес искренне; он действительно в самом себе не чувствовал ничего подобного разочарованию; ему даже весьма не нравились знаменитые романы: «Онегин» и «Печорин». Он всегда называл их баснями. Долго еще разговор продолжался в том же тоне; наконец, хозяйка, кажется, утомилась резонерствовать. Хозаров, как светский человек, тотчас же заметил это и потому раскланялся и уехал. Домой прибыл он несколько взволнованный; на него сильное впечатление произвела философка-именинница. Раздевшись и усевшись в свое вольтеровское кресло, он погрузился в

тихую задумчивость. Вошла Татьяна Ивановна.

– А вы не будете обедать? – спросила она.

– Нет, – отвечал тот, – я обедал у именинницы. Вот Татьяна Ивановна, я встретил женщину, так женщину!

– Кого это?

– Варвару Александровну Мамилову... Чудо! Вообразите себе: говорит, как профессор; что за чувства, что за страсти! И вместе с тем эти синие чулки бывают обыкновенно страшные уроды; а эта, представьте себе, красавица, образованна и учена так, что меня просто в тупик поставила.

Татьяна Ивановна покачала головою.

– Лучше вашей Мари никого нет на свете, – сказала она.

– Мари нейдет тут в сравнение, – отвечал Хозаров. – Мари ангелочек-девочка; на ней можно жениться, любить ее, знаете, как жену; но это другое дело: эту надобно слушать и удивляться.

– Лучше бы вы этого не говорили. Досадно слушать! – возразила Татьяна Ивановна. – Просто вы повеса, волокита. Вот бы вам за-

влечь бедную девушку, потом бросить ее и влюбиться в другую даму.

– Нет, это не то, – проговорил Хозаров и снова задумался.

Посидев немного, Татьяна Ивановна простилась с постояльцем и отправилась к Катерине Архиповне помогать барышням одеваться. Мы оставим моего героя среди его мечтаний и перейдем вместе с почтеннейшею хозяйкою в квартиру Ступицыных, у которых была тоже страшная суетня. Две старшие, Пашет и Анет, начали хлопотать еще с самого обеда о своем туалете; они примеривали башмаки, менялись корсетами и почти до ссоры спорили, которой из них надеть на голову виноград с французской зеленью: им обеим его хотелось.

– Тебе совсем нейдет зелень, – говорила Анет с серыми глазами, – ты брюнетка; ты гораздо лучше будешь в пунцовых шу.[7]

– Извините, я уже и то на трех вечерах была в лентах, а вы всегда в цветах.

Спор двух девушек дошел до маменьки, которая их помирила тем, что разломила виноградную ветку на две и, каждой отдав по по-

ловине, приказала им надеть, вместе с зеленью, и пунцовые шу.

Обе сестры, споря между собой, вместе с тем чувствовали страшное ожесточение против младшей сестры и имели на это полное право: Катерина Архиповна еще за два дня приготовила своему идолу весь новый туалет: платье ей было сшито новое, газовое, на атласном чехле; башмаки были куплены в магазине, а не в рядах, а на голову была приготовлена прекрасная коронка от m-me Анет; но это еще не все: сегодня на вечер эта девочка, как именовали ее сестры, явится и в маменькиных брильянтах, которые нарочно были переделаны для нее по новой моде. Весьма естественно, что Мари, имея в виду такого рода исключительные заботы со стороны матери, сидела очень спокойно в зале и читала какой-то роман. Антон Федотыч, так же, как старшие дочери, был искренне озабочен своим туалетом: он сам лично – своею особою – наблюдал, как гладилась его манишка, которая и должна была составлять перемену в его костюме против того, в котором он являлся к именинице утром.

Между тем как происходили все эти хлопоты, и между тем как волновались ими Пашет, Анет и Антон Федотыч, Катерина Архиповна сидела и разговаривала с Рожновым.

– Что мне делать, Иван Борисыч? – говорила хозяйка.

– Я сам не знаю, что делать и вам и мне, – отвечал тот, – но я вам опять повторю: я богат, не совсем глуп, дочь ваша мне нравится, а потому, может быть, и сумею сделать ее счастливою.

– Все это я знаю, но она еще замуж не хочет, – отвечала Катерина Архиповна.

– Нет-с, это не то: она замуж хочет, только не за меня.

– Я вас очень хорошо понимаю, Иван Борисыч, и очень была бы рада, – отвечала Катерина Архиповна.

– Я знаю, что вы-то бы рады, – отвечал Рожнов, – впрочем, подождем, не сделает ли чего время?

– Подите поговорите с ней, полюбезничайте, – сказала старуха. – Вы к ней очень невнимательны.

– Вот еще что выдумали! Стану я любезни-

чать! Она и без того, кажется, видеть меня равнодушно не может, – проговорил толстяк и задумался.

Явилась Татьяна Ивановна. Мари, увидев свою поверенную, взяла ее за руку и посадила около себя.

– Что вы не собираетесь?

– У меня все готово, – отвечала девушка.

– Как вас ждет один человек, так просто ужас: сегодня целое утро только и говорил, как увидеться с вами, – сказала Татьяна Ивановна.

Девушка покраснела, однако ничего не отвечала и принялась читать роман. Татьяна Ивановна начинала несколько раз опять заговаривать о Хозарове, но ответом ей было только смущение, и потому девица Замшева решила отправиться к двум старшим. Здесь она нашла обширное поле для своей деятельности. Обе девицы были в совершенном отчаянии от дурно выглаженных кисейных платьев, но Татьяна Ивановна взялась помочь горю: со свойственным только ей искусством sprysнула весьма обильно платья, начала их гладить через тонкую простынь, и таким об-

разом платья вышли отличные. Часа за два началось одевание трех сестер. Татьяна Ивановна беспрестанно перебегала из комнаты двух старших в кабинет младшей, которую, впрочем, одевала сама мать. Толстяк все это время сидел один в зале. Антон Федотыч тоже одевался. Старуха, одев своего идола, снарядилась сама очень скоро, и к девяти часам все были готовы. Рожнов предложил всему семейству ехать в его возке, а сам с Антоном Федотычем отправился на извозчике. Татьяна Ивановна проводила всех до крыльца и на этот раз, не боясь мошенников, отправилась домой.

Когда семейство Ступицыных в сопровождении Рожнова вошло в залу Варвары Александровны, там было уже довольно гостей. Хозаров стоял, прислонясь к косяку дверей в гостиную, и рисовался. Среди всей этой новоприбывшей семьи по преимуществу кинулась всем в глаза Мари; она была очень мила в своем розовом новом платье и в маменькиных переделанных брильянтах. Две старшие, поздоровавшись с хозяйкою, тотчас же адресовались к моему герою и адресовались так

провинциально, с такими неприятными и странными ужимками, что Хозаров совершенно сконфузился и, сделав сколько возможно насмешливую улыбку, пробормотал несколько слов и ретировался в залу; но и здесь ему угрожала опасность: Антон Федотыч схватил его за обе руки и начал изъяслять – тоже весьма глупо и неприлично – восторг, что с ним увиделся. Хозаров окончательно растерялся и не нашел ничего более сделать, как выйти вон из залы. По возвращении его кадрили уже началась. Две старшие девицы Ступицыны были ангажированы офицерами; следовательно, от них не могла ему угрожать опасность. Его беспокоил один только Антон Федотыч, который стоял в противоположном углу и с улыбкою посматривал на всю публику. Увидев Хозарова, он, видимо, замыслил подойти к нему, но, к счастью сего последнего, Ступицын был со всех сторон заставлен стульями, а потому не мог тронуться с места и ограничился только тем, что не спускал с Хозарова глаз и улыбался ему.

«Какое милое существо, а в каком дурацком семействе родилось!» – подумал про себя

Сергей Петрович, глядя на хорошенькую Мари, танцующую с третьим офицером. Осмотрев внимательно ее роскошный стан, ее пухленькие ручки и, наконец, заметив довольно таинственные и много говорящие взгляды, он не выдержал, подошел к ней и позвал ее на кадрили.

Между тем хозяйка, осматривавшая в лорнет всех гостей, увидела во второй кадрили Хозарова, танцующего с Мари, и с той поры исключительно занялась наблюдением над ними. Она видела все; но ни Хозаров, ни Мари не заметили ничего. В герое моем вдруг воскресла на время усыпленная впечатлением Варвары Александровны страсть к Мари, тем более, что он, взяв ручку грезовской головки, почувствовал, что эта ручка дрожала.

– Вы меня ненавидите, – сказал поручик, становясь с своей дамой на избранное место.

Мари ничего не отвечала; она только взглянула на него, но взглянула так, что Сергей Петрович понял многое и потому слегка пожал ее ручку. Ему отвечали тоже легким пожатием.

– Вы не сердитесь на меня за мою тайну,

которую писал я вам в дневнике? – проговорил он.

– Нет, – отвечала девушка.

– А вы знаете, о ком я писал?

– Не знаю.

– О вас.

Мари вся вспыхнула.

– Могу я вас любить? – спросил он шепотом.

– Да, – отвечала тоже шепотом девушка.

– А вы?

Молчание...

– А вы? – повторил Хозаров.

– Да... – едва проговорила она и стремительно бросилась делать шен.

По окончании кадрили Хозаров, расстроенный, и расстроенный в такой мере, что даже взъерошил свою прическу, стал опять у косяка. К нему подошла хозяйка.

– Я все видела, – сказала она, – вас любят, вы напрасно сомневаетесь, и любят вас так, как только умеет любить молоденькая девушка; но знаете, что мне тут отрадно: вы сами любите, вы сами еще не утратили прекрасной способности любить. Поздравляю и радуюсь

за вас.

Хозаров на такого рода лестные отзывы ничего не мог даже ответить и только молча и с внутренним самодовольством прижал к груди свою шляпу и поклонился.

Ступицыны скоро уехали с вечера. Катерина Архиповна заметила, что идол ее немного побледнел, и потому тотчас же пристала к Мари с расспросами: что такое с ней? Мари объявила, что у нее голова болит и что ей бы очень хотелось ехать домой. Старуха тотчас же повелела всей остальной семье собраться. Как это ни было горько Пашете и Анете, так как обе они были приглашены теми же офицерами на мазурку; как, наконец, ни неприятно было такое распоряжение супруги Антону Федотычу, который присел уже к статскому советнику Желюзову и начал было ему рассказывать, какие у него в деревне сформированы прекрасные музыканты, однако все они покорились безотменному повелению Катерины Архиповны и отправились домой.

IV

Спустя неделю после Варварина дня Ступицын вознамерился всем знакомым Катерины Архиповны сделать визиты. Многие породило в голове Антона Федотыча подобное желание: во-первых, ему хотелось еще раз показать почтеннейшей публике свой новый фрак; во-вторых, поговорить с некоротко знающими его лицами и высказать им некоторые свои душевные убеждения и, наконец, в-третьих, набежать где-нибудь на завтрак или на закуску с двумя сортами водки, с каким-нибудь канальским портвейном и накуриться табаку. Последняя причина едва ли была не главная, потому что заветный погребец его – увы! – давно уже был без содержания; наполнить же его не было никакой возможности: расчетливая Катерина Архиповна, шив супругу новое платье, так как в старом невозможно уже было показать его добрым людям, поклялась пять лет не давать ему ни копейки и даже не покупала для него табаку. Решившись, на основании вышеупомянутых причин, делать визиты, Антон Федотыч имел

В виду одно только не совсем приятное обстоятельство: он должен был ходить пешком, потому что Катерина Архиповна и на извозчика не давала денег. Это заставило Ступицына решиться посетить не вдруг всех, а делать визита по два или по три в день, рассказывая при этом случае, что ему доктор велел каждое утро ходить верст по пяти пешком. В первый день зашел он к статскому советнику Желюзову, но здесь его не приняли, и он направил стопы к Хозарову. Может быть, его и здесь не приняли бы, но он вошел вдруг и застал хозяйина за туалетом.

– Боже мой, извините вы меня! – вскрикнул Хозаров, запахивая халат и стараясь прибрать туалетные принадлежности.

– Сделайте милость, не беспокойтесь, – возразил гость, – иначе я лишу себя приятного удовольствия побеседовать с вами и уйду.

– Как это возможно! – возразил, с своей стороны, хозяин. – Но все-таки мне очень со-вестно: я теперь живу на биваках; мое отделение переделывают; я сюда перешел на время, в этот сарай.

– Я этого не скажу, – говорил Ступицын,

усаживаясь на ближайший к хозяину стул. – Комната мне нравится, очень веселенькая. Обоями нынче все больше оклеивают!

– Да, но это что за помещение!.. Семейство ваше как, в своем здоровье?

– Благодарю вас, слава богу. Мари что-то все хмурится. Позвольте мне попросить у вас трубки.

– Ах, сделайте милость! – вскрикнул хозяин и сам было бросился набивать гостю трубку; но тот, конечно, не допустил его и сам себе выбрал самую огромную трубку, старательно продул ее, наложил, закурил и сел, с целью вполне насладиться любимым, но не всегда доступным ему удовольствием.

– Бесподобный табак! – сказал он, втягивая дым.

– Очень рад, что вам нравится.

– Как, однако, свежо на дворе! – сказал гость, усладившись курением. – Я хожу ведь пешком: доктор велел; нельзя, знаете, без мочиюну, – такие уж лета; чего доброго, пожалуй, и удар хватит.

– Так на дворе, вы изволите говорить, холодно?

– Весьма свежо. Я так, знаете, прозяб, что даже и теперь не могу согреться.

– Не прикажете ли чаю, или кофе?

– Нет-с, благодарю покорно: то и другое мне строжайше запрещено доктором. Рюмку водки, если есть, позвольте!

– Ах, пожалуйста! – сказал хозяин и вышел, чтоб попросить у Татьяны Ивановны для гостя водки. Девица Замшева, услышав, что у Хозарова Антон Федотыч и желает выпить водки, тотчас захлопотала.

– Дайте водочки, почтеннейшая, да нет ли графинчика получше, да и закусить чего-нибудь – сыру или сельдей, и, знаете, подайте понаряднее: на поднос велите постлать салфетку и хлеб нарезать и разложить покрасивее.

– Знаю, Сергей Петрович, знаю. Уж не беспокойтесь. Велю подать водки, миног, сыру и колбасы; да не худо бы винца какого-нибудь?

– Очень хорошо и винца – рубля в полтора серебром бутылку, – отвечал Хозаров. – Ах вы, милейшая моя хозяйюшка! – говорил он, трепля ее по плечу.

– То-то и есть, – отвечала Татьяна Иванов-

на, – дай вам бог другую нажать такую. Вот посмотрим, как-то вы отблагодарите меня, как женитесь.

– Тысячу рублей подарю вам, – отвечал Сергей Петрович.

– Хорошо, посмотрим, – отвечала хозяйка и побежала хлопотать о закуске.

Хозаров между тем возвратился к гостю, который закурил уже другую трубку и, развалясь на диване, пускал мастерские кольца.

– Извините меня, – сказал хозяин, – я захлопотался. Вот наша холостая жизнь: вообразите себе, двое у меня людей в горнице, и ни одного налицо нет, так что принужден был просить подать завтрак хозяйскую девушку.

– Это часто случается и у нас; у меня вот здесь немного людей, а в деревне их человек пятнадцать, а случается иногда, что даже по целому дню трубки некому приготовить.

В это время Марфа, одетая по распоряжению Татьяны Ивановны в новое ситцевое платье, принесла закуску, водку и вино.

– Прошу покорнейше, – сказал хозяин.

– А я вас прошу не беспокоиться: распоря-

жусь, – отвечал гость и залпом выпил рюмку водки, закусив миногою.

– Прекрасная закуска эти миноги! И кислотовато и приятно, – сказал он, прожевав кусок. – Говорят, это маленькие змеи?

– Не знаю. Не прикажете ли винца?

– Нет, позвольте мне еще рюмку водки: все как-то не могу хорошенько согреться! Это штриттеровская?

– Нет, домашняя.

– Скажите, какая прекрасная, – заметил гость, закусывая сыром. – Теперь можно трубки покурить и винца потом выпить, – проговорил он и, закулив трубку, хотел было налить себе в рюмку.

– Не прикажете ли лучше в стакан? Это вино совестно пить рюмками, – сказал хозяин, желавший угостить гостя и заметив, что сей последний не любит выпить.

– Не много ли будет стаканчиками? – сказал гость, выпив рюмку. – Вы сами не кушаете; надобно начинать ведь с хозяина.

– А вот я и сам выпью, – сказал тот, налив стакан и ставя его перед Ступицыным, а себе рюмку.

Антон Федотыч пришел в совершенно блаженное состояние от такого любезного приема.

– Как мне приятно, что я имел честь с вами познакомиться. С первого раза, изволите ли помнить, как мы встретились, я почувствовал к вам какое-то особенное влечение.

– Благодарю вас покорно; я, с своей стороны, также дорожу знакомством вашим и всего вашего милого семейства.

– Да-с, я могу похвалиться моим семейством, – начал Ступицын, у которого в голове начало уже шуметь, – одно только... ах, как мне тут неприятно! Даже и говорить про это больно!

– Что такое-с?

– Так, знаете-с: свои семейные несообразности.

– Но... в чем же?

– Это, я вам доложу, большая история, – проговорил Ступицын, вздыхая и махнув рукою. – Я, пожалуй, вам расскажу; но прежде, нежели начну, позвольте мне вас попросить выпить со мной по стаканчику мадеры.

– С большим удовольствием, – отвечал хо-

зяин и налил себе и гостю по стакану вина, которыми они чокнулись и выпили.

– Я вас, Сергей Петрович, с первого раза полюбил, как сына, а потому могу открыть вам душу. Катерина Архиповна моя... я про нее ничего не могу сказать... Семьянинка прекрасная, только неровна к дочерям: двух старших не любит, а младшую боготворит.

– Скажите, пожалуйста!

– Да-с, вот какой случай. А что прикажете делать? Я хоть и отец, а помочь не могу. Короче вам сказать: была у нас двоюродная бабка, и, заметьте, бабка с моей стороны; препочтеннейшая, я вам скажу, старушка; меня просто обожала, всего своего имущества, еще при жизни, хотела сделать наследником; но ведь я отец: куда же бы все пошло?.. Все бы, конечно, детям – только бы поровну, никто бы из них обижен-то не был. Так как бы вы думали, что сделала супруга? Перед самою почти смертью подбилась к старухе да уговорила ее, обойдя меня, отдать одной младшей, Машет, а мы и сидим теперь на бобах. Вот что значит неравная-то любовь! Но ведь я отец: мне горько и обидно... и себя, конечно, жалко, да и

старшие-то чем же согрешили?

– Скажите, пожалуйста, – произнес Хозаров, – и большое имение?

– Триста душ в кружке, как на ладони, да каменная усадьба.

– И всем уж теперь владеет Мария Антоновна?

– Давно, по всем актам, но это еще мало: имение теперь под опекою у матери; ни копейки, сударь вы мой, из доходов не издерживает, – все в ломбард да в ломбард на имя идола: тысяч тридцать уж засыпано.

– Тридцать тысяч! – воскликнул от восхищения Хозаров.

– Ровнехонько тридцать. Но ведь мне горько: я отец... Я равнодушно видеть старших не могу, хуже, чем сироты. Ну, хоть бы с воспитания взять: обеих их в деревне сама учила, ну что она знает? А за эту платила в пансион по тысяче рублей... Ну и это еще не все...

– Что же еще такое? – спросил Хозаров, более и более начинавший интересоваться рассказом Ступицына.

– И это еще не все: нашла ей жениха, почти насильно влюбила его в нее; он полгода

уже как интересовался старшей; переделала, сударь ты мой, это дело в свою пользу – да и только! Теперь тот неотступно сватается к Машеньке.

– Сватается к Марье Антоновне?

– Неотступно! Сюда за ними нарочно приехал: вы, верно, его знаете, – Рожнов!

– Этот толстяк! – воскликнул Хозаров.

– Да что такое толстяк? Тысяча ведь душ... человек добрейший... умница такая, что у нас в губернии никто с ним и не схватывается.

– Так, стало быть, Марья Антоновна помолвлена?

– Кажется, еще нет. Я, признаться, и не знаю, потому что я и входить не хочу в их дела: грустно, знаете, очень грустно, право, а нечего делать: мать!.. Кто ее может судить и разбирать. А и теперь Пашет и Анет все я содержу – это я могу прямо сказать. Но у меня небольшое состояние: всего сто душ; я сам еще люблю пожить, – ну вот, например, в карты играю, и играю по большой; до лошадей охотник и знакомых тоже имею; а она из своих ста душ ни синя пороха не дает старшим, а

все на своего идола. Обидно, Сергей Петрович, невыносимо обидно! Позвольте мне еще водки выпить.

Ступицын выпил еще водки и начал немного покачиваться.

– Что мне делать, как мне быть? – рассуждал он как бы сам с собою. – К несчастью, они и собой-то хуже той, но ведь я отец: у меня сердце равно лежит ко всем. Вы теперь еще не понимаете, Сергей Петрович, этих чувств, а вот возьмем с примера: пять пальцев на руке; который ни тронь – все больно. Жаль мне Пашет и Анет, – а они предобрые, да что делать – родная мать! Вы извините меня: может быть, я вас обеспокоил.

– Ах, как вам не совестно! Напротив – мне очень приятно, – отвечал хозяин.

Гость принялся было отыскивать картуз, но остановился.

– Не могу идти домой, не могу видеть неравенства, – и в ком же? В родной матери, которая носила всех в утробе своей девять месяцев... – Здесь Ступицын немного остановился. – Сергей Петрович, милый вы человек! – продолжал он. – Я обожаю вас, то есть, кажет-

ся, готов за вас умереть. Позвольте мне вас поцеловать!

– С большим удовольствием...

Новые приятели облобызались.

– Сергей Петрович! Позвольте мне у вас отдохнуть, не могу видеть неравенства.

– Сделайте одолжение, – сказал Хозаров, в душе обрадованный такому намерению Ступицына, потому что тот, придя в таком виде домой, может в оправдание свое рассказать, что был у него, и таким образом поселить в семействе своем не весьма выгодное о нем мнение. Он предложил гостю лечь на постель; тот сейчас же воспользовался предложением и скоро захрапел.

В какой мере были справедливы вышесказанные слова Ступицына, мы увидим впоследствии; но Хозаров им поверил.

– Триста душ, тридцать тысяч и каменная усадьба... недурно, очень недурно, – повторил он сам с собой, и между тем как гость его начинал уж храпеть на третью ноту, Хозаров отправился к Татьяне Ивановне.

– Ну что, ушел? – спросила хозяйка.

– Нет, пьян напился, и водку и вино – все

выпил и лег спать, – отвечал постоялец. – Бог даст, как женюсь, так и в лакейскую к себе не стану пускать: пренесносная скотина! Впрочем, Татьяна Ивановна, нам в отношении Мари угрожает опасность, и большая опасность.

– Что вы это? Какая опасность?

– Да такая опасность, что вряд ли она не помолвлена!

– Не может быть, ой, не может быть. Да за кого, Сергей Петрович? Не за кого быть помолвленной.

– А за Рожнова?

– За этого толстого господина? Пойдите, батюшка Сергей Петрович, пожалуй, это и на дело похоже. Когда они собирались на вечер, Марья Антоновна была такая грустная, а этот господин сидел с Катериной Архиповной и все шепотом разговаривали...

– Это скверно, – произнес Хозаров. – Впрочем, у них в этот день ничего не могло быть решительного, потому что я в этот же вечер объяснился ей в любви и получил признание.

– Ну, вот видите, стало быть, пустяки: может быть, мне только так показалось; она не ветреница какая-нибудь: этого про нее, ка-

жется, никто не окажет, но только все-таки, Сергей Петрович, скажу вам: напрасно теряете время, пропустите вы эту красотку.

– Не слышали ли вы, Татьяна Ивановна, что у нее есть усадьба?

– Как не быть усадьбы! Отличнейшее поместье. Нынче одни дворы конюшенные выстроить стоило пять тысяч; хлеб родится сам-десять.

– И это верно вы знаете?

– Как самое себя.

– Вы действительно, почтеннейшая, говорите справедливо, – сказал Хозаров после нескольких минут размышления. – Я глупо и безрассудно теряю время.

– Глупо, Сергей Петрович, и совершенно безрассудно, – повторила Татьяна Ивановна.

– Помолюсь-ка я богу да пойду объяснюсь с Катериной Архиповной. Этому болвану и говорить нечего: он, кажется, ничего не значит в семействе.

– Именно так, – утвердила Татьяна Ивановна.

Хозаров несколько времени ходил по комнатам в задумчивости.

– Знаете, что мне пришло в голову? Я сделаю предложение письмом: говорить об этих вещах как-то щекотливо.

– Письмом гораздо лучше, и они пунктуальнее ответят, – отвечала Татьяна Ивановна.

– Жалко, что у меня в комнате эта свинья спит. Разве идти в кофейную Печкина и оттуда послать с человеком? Там у меня есть приятель-мальчик, чудный малый! Славно так одет и собой прехорошенький. Велю назвать-ся моим крепостным камердинером. Оно будет очень кстати, даже может произвести выгодный эффект: явится, знаете, франтоватый камердинер; может быть, станут его расспрашивать, а он уж себя не ударит в грязь лицом: мастерски говорит.

– Превосходно вы выдумали, – сказала Татьяна Ивановна. – А то отсюда даже и послать некого: ведь не Марфутку же? В таком деле черную девку посылать и неловко.

– Ну, куда ваша Марфутка годится! Ей впо-ру и в лавочку бегать. Я думал было попросить вас, но как-то нейдет, не принято в свете.

– Мне совершенно невозможно. Я бы, конечно, душой рада, да не принято. После, по-

жалуй, схожу, хоть сегодня вечером, и поразузнаю, как между ними это принято; может быть, и сами скажут что-нибудь.

– Это действительно, вы сходите и поразведайте. Adieu[8], почтеннейшая!

Возвратясь в свой номер, Хозаров тотчас же оделся, взял с собой почтовой бумаги, сургуч, печать и отправился в кофейную, где в самой отдаленной комнате сочинил предложение, которое мы прочтем впоследствии. Письмо было отправлено с чудным малым, которому поручено было назваться крепостным камердинером и просить ответа; а если что будут спрашивать, то ни себя, ни барина не ударить лицом в грязь.

Между тем как Антон Федотыч, подгуляв у Хозарова, посвящал его во все семейные тайны и как тот на основании полученных им сведений решил в тот же день просить руки Марьи Антоновны, Рожнов лежал в кабинете и читал какой-то английский роман. Прислуга толстяка сидела в лакейской и пила чай; у него их было человека три в горнице и человека четыре в кухне, и то потому только, что выехал в Москву налегке, а не со всем

еще домом. Про лакеев Рожнова обыкновенно говорили в губернии, что таких оболтусов и никуда не годных лентяев надобно заводить веками, а то вдруг, как будто бы какой кабинет редкостей, не составишь. В настоящее время вся эта братия хохотала во все горло над молодым, с глуповатой физиономией, парнем, который, в свою очередь, хотя тоже смеялся, но, видимо, был чем-то оконфужен.

– Эй, сеньоры, чему вы там смеетесь? – сказал барин.

Ответа не было.

– Григорий, а Григорий!

– Чего-с? – отозвался, наконец, голос из лакейской.

– Соблаговолите, сеньор, сюда пожаловать.

Появился самый младший из лакеев.

– Чему вы там смеялись? – спросил Рожнов.

– Над фореитором, – отвечал тот и снова захохотал во все горло.

– Чем же это он вас насмешил?

– Влюблен-с, – едва выговорил от смеха лакей.

– Скажите, пожалуйста, какой злодей, –

сказал Рожнов. – В кого же он влюбился?

– В горничную Марьи Антоновны. Все спрашивает нас, скоро ли вы изволите на них жениться.

– А она что же?

– И она равнодушна-с: большие между собой откровенности имеют, – отвечал лакей. – Она меня тоже все спрашивает, скоро ли будет ваша свадьба, а не то, говорит, у барышни есть другой жених, – как его, проклятого? Хозаров, что ли? В которого она влюблена.

– Влюблена в Хозарова? – спросил толстяк.

– Должно быть, так, – отвечал лакей.

Рожнов тотчас же встал, в несколько минут оделся, сел в сани и очутился у Катерины Архиповны, которая сидела у себя в комнате одна.

– То, что я предугадывал, – начал Рожнов, – случилось: Мари влюблена в эту восковую рожу, Хозарова.

– Мари влюблена в Хозарова? Что это... с чего это пришло вам в голову? Откуда вы почерпнули эти известия? – сказала Катерина Архиповна несколько даже обиженным голо-

СОМ.

– Не могу вам сказать, именно из каких источников почерпнул эти сведения, но все-таки повторяю, что это верно; верно по моему собственному наблюдению, верно и по слухам, которые до меня дошли.

– Мари влюблена... Ребенок, который еще ничего не понимает; она влюблена? – говорила мать.

– Вот это-то мне досаднее всего, – возразил Рожнов, – как же вы, женщина, и не понимаете другую женщину, и еще дочь свою? Хоть бы, например, себя-то припомнили; неужели в осьмнадцать лет вы ничего не понимали?

– Она – исключение, Иван Борисыч, – перебила Катерина Архиповна, – это необыкновенный еще ребенок; в ней до сих пор я не замечала кокетства, а если бы вы знали, какие вещи она иногда спрашивает, так мне совестно даже рассказывать.

– Все-таки я вам расскажу, что она влюблена. Но, впрочем, что же я вас предостерегаю? Может быть, вам самим нравится эта склонность?

– Вам грех это думать, Иван Борисыч. Вы

очень хорошо знаете, что мое единственное желание, чтобы Мари была вашей женой. Может быть, нет дня, в который бы я не молила об этом бога со слезами. Я знаю, что вы сделаете ее счастливой. Но что мне делать? Она еще так молода, что боится одной мысли быть чьей-либо женой.

В продолжение этой речи у старухи навернулись слезы.

– Ну полноте, не огорчайтесь, – сказал толстяк, – я это сказал так... пускай ее теперь влюбляется в кого угодно; авось, придет очередь и до меня.

– Мамаша! Записочка от Сергея Петровича, – сказала, входя в комнату Анет и подавая матери письмо. – Камердинер их пришел и просит ответа, – прибавила она и вышла.

Старуха и Рожнов вздрогнули; та принялась читать, но на половине письма остановилась, побледнела как полотно и передала его Рожнову, который, прочитав послание моего героя, тоже смутился.

Несколько минут продолжалось молчание. Старуха как будто бы не помнила сама себя. Рожнов тоже; но, впрочем, он скоро опомнил-

ся и, взглянув насмешливо на Катерину Архиповну, начал снова перечитывать письмо.

– Вы со вниманием ли прочли это прекрасное послание? – сказал он.

– Я еще опомниться, Иван Борисыч, не могу; такой наглости, такого бесстыдства я и вообразить не могла. Мари в него влюблена! Скажите, пожалуйста! Мари дала ему слово!

– Мари действительно в него влюблена и действительно дала ему слово, – перебил Рожнов, – только мы-то с вами, маменька, немного поошиблись в расчете: Мари, видно, не ребенок, и надобно полагать, что не боится выйти замуж. Я не знаю, чему вы тут удивляетесь; но, по-моему, все это очень в порядке вещей.

– Но, Иван Борисыч, я этого не желаю, – возразила Катерина Архиповна.

– Да, если вы не желаете, это другое дело; но, впрочем, действительно ли вы не желаете, когда желает этого Марья Антоновна? Однако погодите! Я намерен вам вслух прочитать это письмо; оно так прекрасно написано, что, может быть, и убедит вас переменить ваше намерение. «Милостивая государыня, Ка-

терина Архиповна! – начал читать толстяк. – Робко и несмелою рукою берусь я за перо, чтобы начертить эти роковые для меня строки. Давно, очень давно, Катерина Архиповна, люблю я вашу младшую дочь; сердце мое меня не обмануло: она меня тоже любит и уже почти дала мне слово».

– Удивительно, как красно написано! – сказал толстяк, остановясь читать. – Неужели эти «роковые строки» не трогают вашего материнского сердца, Катерина Архиповна?

Старуха ничего не отвечала и сидела, как уличенная преступница. Толстяк продолжал читать: «Ваше слово, ваше слово, почтеннейшая Катерина Архиповна! Одного вашего слова недостает только для того, чтобы обоих нас сделать блаженными».

– Перестаньте, Иван Борисыч, пожалуйста, перестаньте, – перебила Катерина Архиповна, – лучше скажите, что мне делать?

– Сделать их блаженными.

– Имейте, Иван Борисыч, сожаление к моим чувствам, – возразила старуха. – Где же тут любовь с вашей стороны? Это, я думаю, и до вас касается, а вы, вместо того чтобы посове-

товать мне, только смеетесь.

– Что же мне вам советовать?

– Да ведь я должна что-нибудь решительно ответить; мне должно отказать, а я теперь ничего и не понимаю.

– А вы думаете отказать?

– Конечно, отказать.

– А! Это другое дело! Я берусь даже вам продиктовать письмо.

– Сделайте божескую милость, войдите в мое положение! – сказала Катерина Архиповна и тотчас же принялась под диктовку толстяка писать письмо к моему герою. Оно было следующего содержания:

«Милостивый государь, Сергей Петрович! За ваше предложение я, из вежливости, благодарю вас и вместе с тем имею пояснить вам, что я не могу изъявить на него моего согласия, так как вполне убеждена в несправедливости ваших слов о данном будто бы вам моей дочерью слове и считаю их за клевету с вашей стороны, во избежание которой прошу вас прекратить ваши посещения в мой дом, которые уже, конечно, не могут быть прият-

ны ни вам, ни моему семейству».

Вот какой ответ получил мой герой с чудным малым и сначала пришед в сильное ожесточение, тотчас же вознамерился ехать к Катерине Архиповне и объясниться с ней, но, сев в сани, раздумал и велел везти себя к Мамиловой.

Варвара Александровна была дома и сидела в своем кабинете одна. Она очень обрадовалась приезду гостя.

– Как вы милы, monsieur Хозаров, – сказала хозяйка, – что посетили затворницу.

М-г Хозаров на этот раз не был, по обыкновению, любезен, потому что, поклонившись, и поклонившись, разумеется, довольно грациозно, сел и задумался.

– Что с вами? – спросила внимательная хозяйка.

– Сегодня одна из лучших надежд моих лопнула и взорвана на воздух, – сказал он и прибавил. – О, люди, люди!

– Вы хандрите, ха-ха-ха! И вас посетила желчь. Поздравляю вашу будущую жену, – сказала Мамилова.

– Я не хандрю, но я ожесточен.

– Проигрались, верно, – заметила хозяйка. – Мужчины всегда приходят в отчаяние, когда проигрывают.

– Я проигрывал в жизнь мою полсостояния, но оставался так же спокоен, как издержав целковый, – отвечал Хозаров с благородным негодованием, – но сегодня я проиграл мою лучшую надежду.

– Не понимаю вас, – сказала хозяйка.

– Потому что вы не верите в чувства мужчин, – возразил Сергей Петрович.

– Да, я и забыла: вы влюблены... Скажите, бога ради, что с вами? Мне очень интересно узнать, как мужчины страдают от любви. Я об этом читала только в романах, но, признаюсь, никогда не видала в жизни.

– Если вам угодно будет говорить в этом тоне, то вы, конечно, ничего не узнаете от меня: я буду молчалив, как могила.

– Ну, не сердитесь. Я знаю, что вы лучше других, лучше многих. Вы еще молоды. Скажите, что вас так растрогало?

– Вы знаете мои отношения к Мари Ступицыной?

– Да, знаю: она влюблена в вас!

– Может быть, но сегодня я узнал, что ее хотят выдать замуж, и знаете, за кого? За Рожнова, которого она терпеть не может, который скорее походит на быка, нежели на человека, и все оттого, что у него до тысячи душ.

– Но что же вы-то делаете?

– Что же мне делать? Я, любя ее и желая спасти от этого ужасного для нее брака, сегодня же сделал ей предложение.

– Bravo! Так и следует поступить благородному человеку! Какой же результат?

– Результат... стыдно и говорить. Прочтите сами, – сказал Хозаров, подавая Варваре Александровне письмо.

– Результат обыкновенный, – сказала она, прочитав письмо. – Вот вам отцы и матери... Как они безумно располагают счастьем дочерей: тысяча душ – и довольно! Что им за дело, что это бедное существо может задохнуться в этом браке? Как не быть счастливой при тысяче душах! Что за дело, что нет тысячи первой души, которая одна только и нужна для счастья женщины? А эту любовь, которая живет в ней, она должна умертвить ее!.. Ничего,

это очень легко; все равно что снять башмак... И что такое значит разлучить навеки два существа, которые, может быть, созданы друг для друга?.. – На этих словах Варвара Александровна остановилась и задумалась.

Сергей Петрович, созданный для Марьи Антоновны, в продолжение всего этого монолога сидел, тоже задумавшись.

Долго еще Варвара Александровна говорила в том же тоне. Она на этот раз была очень откровенна. Она рассказала историю одной молодой девушки, с прекрасным, пылким сердцем и с умом образованным, которую родители выдали замуж по расчету, за человека богатого, но отжившего, желчного, в котором только и были две страсти: честолюбие и корысть, – и эта бедная девушка, как южный цветок, пересаженный из-под родного неба на бедный свет оранжереи, сохнет и вянет с каждым днем.

Варвара Александровна так живо рассказала эту историю, что герой мой положительно догадался, что этот южный цветок не кто иной, как она сама.

Прощаясь с гостем, Мамилова обещалась

побывать на другой день у Ступицыных и поговорить там о нем.

Молодой человек с чувством благодарности пожал руку нового своего друга.

В номере своем он нашел маленькую записку от Ступицына следующего содержания:

«Душевно благодарю вас за угощение и надеюсь, что все останется между нами в тайне.

А.Ступицын».

Кроме того, он застал там Татьяну Ивановну.

– Сергей Петрович, что это у вас наделалось? – начала хозяйка, видимо чем-то весьма взволнованная. – Я сегодня такой странный прием получила у Катерины Архиповны, что просто понять не могу; меня совсем не пустили в дом; а этот толстяк Рожнов под носом у меня захлопнул двери и сказал еще, что меня даже не велено принимать.

– Все кончено, Татьяна Ивановна, – сказал герой мой, садясь в кресло.

– Нет, не кончено и не может быть кончено, – возразила Татьяна Ивановна. – Марья

Антоновна будет ваша, если захотите.

– Каким образом?

– Очень просто... увезите.

– Увезти?.. Да, конечно, можно; но, впрочем, утро вечера мудренее: мне очень хочется спать.

Герой мой, утомленный ощущениями дня, действительно очень устал и потому, выпроводив Татьяну Ивановну, тотчас же разделся, бросился в постель и скоро заснул.

Существует на свете довольно старинное и вместе с тем весьма справедливое мнение, — мнение, доказанное многими романами, что для любви нет ни заповорюв, ни препятствий, ни даже враждебных стихий; все она поборает и над всем торжествует. Это старинное мнение подтвердилось еще раз и в настоящем моем рассказе.

После сделанного Хозарову отказа Катерина Архиповна долго еще совещалась с Рожновым, и между ними было положено: предложение молодого человека скрыть от всех, а главное — от Мари; сделать это, как казалось им, было весьма возможно. Хозарову уже отказано от дома, и теперь только надобно было выпроводить Татьяну Ивановну, которая, пожалуй, будет переносить какие-нибудь вести. Почтеннейшая девица не замедлила явиться в этот же день, и Рожнов взялся сам отказать госте и, видно, исполнил это дело весьма добросовестно, потому что Татьяна Ивановна после довольно громкого разговора, который имела с ним первоначально в за-

ле, потом в лакейской и, наконец, на крыльце, вдруг выскочила оттуда, как сумасшедшая, и целые почти два переулка бежала, как будто бы за ней гналась целая стая бешеных собак.

Мало этого, чтобы прекратить всякую возможность для Мари видеться с Хозаровым и в посторонних домах, Катерина Архиповна решилась притвориться на некоторое время больною и никуда не выезжать с семейством. Но что значат человеческие усилия против могущества все преобладающей и над всем торжествующей любви? Между тем как мать и влюбленный толстяк думали, что они предостерегли себя со всех сторон от опасности, опасность эта им угрожала отовсюду.

Проснувшись на другой день, Хозаров внимательно рассмотрел свое положение. Во-первых, он убедился в том, что решительно влюблен в Мари; во-вторых, тридцать тысяч, каменная усадьба и триста душ, – как хотите, это вовсе не такого рода вещи, от которых можно бы было отказаться равнодушно. Но что предпринять? На совещание о том, что предпринять, была приглашена Татьяна Ива-

новна, очень хорошо еще помнившая ужасный прием в доме Ступицыных, вследствие чего и была против всех их, разумеется, кроме Мари, в каком-то ожесточенном состоянии. Она советовала Хозарову увезти Мари и подать просьбу на мать за управление имением; а Рожнова сама обещалась засадить в тюрьму за то, что будто бы он обругал ее, благородную девицу, и обругал такими словами, которых она даже и не слыхивала.

Но Хозаров смотрел на это с другой стороны и хотел действовать в более логическом порядке. Первоначально ему хотелось написать к Мари письмо и получить от нее ответ.

Но каким образом передать письмо? Татьяне Ивановне, как видит и сам читатель, не было уже никакой возможности идти к Ступицыным; но она так ненавидела Катерину Архиповну, так была оскорблена на ее крыльце, что, назло ей, готова была решиться на все и взялась доставить письмо. Как ни верил Хозаров в способность Татьяны Ивановны передавать письма, но все-таки он пожелал знать, какое именно она избирает для этого средство. Оказалось, что средство было очень лег-

кое и весьма надежное: у девицы Замшевой есть приятельница – тоже девица – торговка, которая ходит почти во все дома и была уже несколько раз у Ступицыных и будто бы очень дружна с горничною Марьи Антоновны и даже кой-что про эту голубушку не совсем хорошее знает. Об остальном догадаться не трудно: стоит Хозарову написать письмо, вручить его девице-торговке, а та уже свое дело сделает и принесет даже ответ и за весь этот подвиг возьмет какие-нибудь два целковых.

– Вы напишите ей письмо почувствительнее, а главное дело – напишите ей про мать: какая она ей злодейка и какого счастья лишает ее на всю жизнь.

– Знаю, как написать, – отвечал Хозаров и, расставшись с хозяйкою, тотчас же принялся сочинять послание, на изложение которого героем моим был употреблен добросовестный труд. Три листа почтовой бумаги были перемараны, и, наконец, уже четвертый, розовый и надушенный, удостоился остаться беловым. Письмо было написано с большим чувством и прекрасным языком.

Вот оно:

«Мари! Я осмеливаюсь называть вас этим отрядным для меня именем, потому что вашим наивным да, сказанным на вечере у Мамиловой, вы связали вашу судьбу с моей. Но люди хотят расторгнуть нас: ваша мать приготовила другого жениха. Вы его, конечно, знаете, и потому я не хочу в этих строках называть его ужасного для меня имени; оно, конечно, ужасно и для вас, потому что в нем заключается ваша и моя погибель.

Вчерашний день, я не знаю, сказано ли вам, я просил вашей руки. Простите, что сделал это, не сказав предварительно вам; но когда любишь, то веришь и надеешься. Мне отказано, Мари, – отказано самым жесточайшим манером!.. О Мари! Мне отказано в надежде владеть вами, мой ангел; отказано и в доме... Не знаю, как остался я вчерашний день в своем уме и имею сегодня силы начертить эти грустные строки. Теперь все зависит от вас. Вас не отдадут мне люди, отдайте мне сами себя и напишите мне ответ. Одно слово, моя ненаглядная Мари, одно слово твое вос-

кресит в душе моей умершие надежды. Остаюсь влюбленный Х...в.

P.S. Та же женщина, которая доставит вам это письмо, может принести мне ответ ваш».

Не меньшая опасность для сердца Мари – и сердца, уже несколько, как мы видели из предыдущих сцен, влюбленного, – угрожала с другой стороны, это со стороны Варвары Александровны. В самое то утро, как Хозаров писал письмо к предмету его любви, Мамилова писала такое же к предмету ее дружбы, какой-то двоюродной сестре, с которой она была в постоянной переписке. Так как письмо это было написано тоже прекрасным пером и отличалось глубиной мыслей, а главное – близко относилось к предмету моего рассказа, то я и его намерен здесь изложить с буквальной точностью.

«Ma chere Claudine!

Давно я не писала к тебе, потому что писать было нечего. Ты знаешь, что я не имею собственной жизни: сердце мое, это некогда страстное и пылкое сердце, оно как будто бы

перестало уже биться; я езжу в оперу, даю вечера, наряжаюсь, если хочешь, но это только одни пустые рассеяния, а жизни, самой жизни – нет и нет... тысячу раз нет... Ты, конечно бы, теперь не узнала меня: я сделалась какая-то мизантропка; но я люблю людей, я могу жить счастьем других, этим единственным утешением для людей, лишенных собственного счастья, и вот тебе пример. Есть у меня один знакомый, некто monsieur Хозаров. Представь себе, chere Claudine, юношу в полном значении этого слова, хорошенького собой, с пылкими и благородными чувствами, которые у него выражаются даже в его прекрасных черных глазах: он влюблен, и влюблен страстно, в молоденькую девушку, Мари Ступицыну, которая тоже, кажется, его обожает, и знаешь, как обыкновенно обожают пансионерки. Чего, подумаешь ты, недостает для того, чтобы, для обоюдного счастья, связать этих людей, созданных один для другого, узами брака? Но их расторгают, – расторгают с тем, чтобы одну продать за золотой мешок сорокалетнему толстяку, в котором столько же чувств, как и в мраморной статуе, а другого...

другого заставить, в порыве отчаяния, может быть, броситься в омут порока и утратить там свою молодость, здоровье, сердце и ум, одним словом – все, все, что есть в нем прекрасного. Но я, испытавшая горе на самой себе, я буду действовать на мать и на отца девушки, на нее самое, на молодого человека, чтобы только заставить сбересть их в сердцах своих эту любовь, эту дивную любовь, которая может усыпать цветами их жизненный путь.

Прощай, ma chere, пиши чаще!

Остаюсь твоя *Barbe*».

Написав это письмо, Мамилова в тот же вечер решила отправиться к Ступицыным и начать действовать в пользу двух существ, созданных один для другого. Слуга, пойдя докладывать о ее приезде, долго не возвращался, а возвратившись, объявил, что в доме, должно быть, что-нибудь случилось, потому что он едва добился толку, но приказали, впрочем, просить. Первый человек, встретивший гостью, был сам Антон Федотыч, который подошел к ней на цыпочках, поцеловал ее руку и шепотом просил ее пожаловать в

комнату Катерины Архиповны.

– Что такое у вас? – спросила гостя.

– Машет больна, с четырех часов в истерике, – отвечал Антон Федотыч.

– Я этого ожидала, – сказала Варвара Александровна и вошла в следующую комнату, где увидела хозяйку и двух старших дочерей ее, смиренно сидящих по углам. Все они тоже шепотом поздоровались с гостьей.

– Что с вашей Мари? – спросила она у старухи.

– Сама не понимаю, что случилось, – отвечала мать, – с самого утра в ужасной истерике, и ничто не помогает. Я думаю, с полчаса рыдала без слез, так что начало дыхание захватываться.

– Должно быть, испуг, – заметил Антон Федотыч, – она крыс очень боится, вероятно, крысы испугалась.

Мамилова сомнительно покачала головой.

– Вы, я думаю, Катерина Архиповна, знаете или по крайней мере догадываетесь о причине болезни Мари. Может быть, еще и не то будет, – проговорила она.

Катерина Архиповна посмотрела несколь-

ко минут на гостью, как бы желая догадаться, что та хочет сказать и к чему именно склоняет разговор.

– Я не понимаю вас, Варвара Александровна, – сказала она.

– По моему мнению, очень немудрено, – подхватил Ступицын, – она у нас, знаете, такой нервной комплекции.

– Перестаньте, пожалуйста, вы с вашими мнениями, – перебила Ступицына, – лучше бы посидели в зале: может быть, кто-нибудь подъедет, а там никого нет, потому что Ивана я послала за флердоранжем. – Антон Федотыч поднялся со стула. – Пашет и Анет, подите наверх, в вашу комнату, – продолжала старуха, – и послушайте, покойно ли спит Мари.

Получив такое приказание, папенька и две старшие дочери тотчас же отправились к своим постам.

Катерина Архиповна с умыслом распорядилась таким образом, чтобы остаться наедине с гостьей и послушать, что она еще скажет про Мари, и если это про сватовство Хозарова, то отделать эту госпожу хорошенько, так как страстная мать вообще не любила участия по-

сторонних людей в ее семейных делах, и особенно в отношении идола, за исключением, впрочем, участия Рожнова, в рассуждении которого она, как мы знаем, имела свою особую цель.

– Я все слышала, – начала Мамилова тотчас же, как они остались наедине, – и, признаюсь, от вас, Катерина Архиповна, и тем более в отношении Мари, я никогда этого не ожидала: очень натурально, что она, бедненькая, страдает, узнав, как жестоко вчерашний день решена ее участь.

– А, вы говорите, – сказала Ступицына самым обидно-насмешливым голосом, – про это глупое предложение этого мальчишки Хозарова? Уж не оттого ли, вы полагаете, Мари больна, что я вчерашний день отказала этому вертопраху даже от дома? В таком случае я могу сказать вам, что вы ошибаетесь, Варвара Александровна, Мари даже не знает ничего: я не сочла даже за нужное говорить ей об этом.

– Вы ей не говорили, – возразила с своей стороны тоже довольно насмешливо гостья, – но она знает. Поверьте мне: женщине, которая любит, говорит ее инстинкт, ее предчув-

ствиие.

– Мне очень странно, Варвара Александровна, – сказала мать, – слышать от вас такое, даже обидное для девушки, заключение, тем более, что Мари еще ребенок, который даже, может быть, и не понимает этого.

– Не сердитесь на меня, Катерина Архиповна, и поймите, что я хочу вам сказать: дочь ваша любит, и любит до безумия, и вы, страстная мать, припомните мои слова: вы сведете ее в могилу.

– Сделайте милость, бога ради, прошу вас, не говорите подобных ужасных вещей! – перебила мать, начавшая уже выходить из терпения.

Но Мамилова продолжала:

– Я говорю, что чувствую: выслушайте меня и взгляните на предмет, как он есть. Я знаю: вы любите вашу Мари, вы обожаете ее, – не так ли? Но как же вы устраиваете ее счастье, ее будущность? Хорошо, покуда вы живы, я ни слова не говорю – все пойдет прекрасно; но если, чего не дай бог слышать, с вами что-нибудь случится, – что тогда будет с этими бедными сиротами и особенно с бед-

ною Мари, которая еще в таких летах, что даже не может правильно управлять своими поступками?

– Я опять вам скажу, Варвара Александровна, что я не понимаю, к чему вы все это говорите, – возразила Катерина Архиповна. – Мне пророчите смерть, дочь мою, говорите, яведу в могилу, и бог знает что такое! Я мать, и если отказала какому-нибудь жениху, то имею на это свои причины.

– Мне известны эти причины, – сказала гостья. – У вас в виду другой жених: старый, толстый, богатый. Но что такое значит богатство? Что такое деньги? Это яд, который отравляет жизнь женщины. Не губите, Катерина Архиповна, вашей дочери, не продавайте ее за деньги, если не хотите отравить ее жизнь.

Катерина Архиповна потеряла уже всякое терпение и готова была выйти из границ приличия, в которых старалась себя держать как хозяйка дома.

– Я не продавала и не продам моей дочери, Варвара Александровна, и не хочу ее губить. Для вас, кажется, наши семейные дела

должны бы быть посторонние, и потому, прошу вас, прекратите этот неприятный для меня разговор.

– Извольте, если он вам неприятен, я прекращу, но все-таки скажу, что дочь ваша любит Хозарова.

– А я вам скажу, что она его не любит, потому что получила не такое романтическое и ученое воспитание. Нельзя же, Варвара Александровна, по себе судить о других.

– Тем хуже для вас, Катерина Архиповна, что вы, быв такой страстной матерью, не умели от вашей дочери заслужить доверия.

– Я двадцать пятый год, как мать, и мать троих дочерей. Вы, я полагаю, не можете и судить об этих чувствах, потому что никогда не имели детей.

– Не смею и равняться с вами в этом отношении и сказала только из желания счастья Мари.

– Никто, конечно, как мать, не пожелает более счастья дочери.

– И с этим я вполне согласна, что они желают, но всегда ли умеют устроить это счастье детей? Впрочем, я действительно, может

быть, дурно поступаю, что вмешалась в совершенно постороннее для меня дело.

– Оно конечно, Варвара Александровна, вам будет гораздо лучше предоставить мне самой знать мои дела.

– Совершенно согласна и прошу у вас извинения, – сказала опять насмешливым голосом Варвара Александровна.

– И меня тоже извините, – отвечала хозяйка, – и я, как мать, может быть, сказала вам что-нибудь лишнее.

Здесь разговор двух дам прекратился. Варвара Александровна из приличия просидела несколько минут у Ступицыных и потом уехала, дав себе слово не переступить вперед даже порога в этот необразованный дом. Вечером к ней явился Хозаров: он был счастлив и несчастлив: он получил с торговкою от Мари ответ, короткий, но исполненный отчаяния и любви.

«Я вас буду любить всю жизнь, – писала она. – Мамаше как угодно: я не пойду за этого гадкого Рожнова. Вас ни за что в свете не забуду, стану писать к вам часто, и вы тоже пи-

шите. Я сегодня целый день плачу и завтра тоже буду плакать и ничего не буду есть. Пускай мамаша посмотрит, что она со мной делает».

– Не правда ли, – сказал Хозаров, прочитав это письмо Варваре Александровне, – по-видимому, это письмо небольшое, но как в нем много сказано!

– Тут неподдельный язык природы и наивность сердца, – отвечала та. – Впрочем, – продолжала она, – вам все-таки надобно отказаться от вашей страсти, потому что это такое дикое, такое необразованное семейство! Я даже не воображала никогда, чтобы в наше время могли существовать люди с такими ужасными понятиями.

– Все семейство никуда не годится, но Мари между ними исключение: она непохожа ни на кого из них.

– Это правда. Отец еще ничего – очень глуп и собою урод, сестры тоже ужасные провинциалки и очень глупы и гадки, но мать – эта Архиповна, я не знаю, с чем ее сравнить! И как в то же время дерзка: даже мне наговори-

ла колкостей; конечно, над всем этим я смеюсь в душе, но во всяком случае знакома уже больше не буду с ними.

– Но что же я должен предпринять? – возразил Хозаров.

– Не знаю. *Entre nous soit dit*[9], вам остается одно – увезти.

– Увезти? Да, это правда!

– Непременно увезти, – подхватила Мамилова. – Вы даже обязаны это молоденькое существо вырвать из душной атмосферы, которая теперь ее окружает и в которой она может задохнуться, и знаете ли, как вам обоим будет отрадно вспомнить впоследствии этот смелый ваш шаг?

– Знаю, Варвара Александровна, очень хорошо знаю; но теперь еще покуда есть препятствие для этого.

– Для любви не может быть препятствия, не может быть препон; ну, скажите мне, в чем вы видите препятствие?

– Препятствие в том отношении, если жена моя после будет чувствовать раскаяние, будет укорять меня.

– Никогда! Парирую моею жизнью, нико-

гда. Женщины раскаиваются только в тех браках, в которые они вступают по расчету, а не по любви. В чем ваша Мари будет чувствовать раскаяние?

– Конечно...

– Нет, вы скажите, в чем и почему именно она будет раскаиваться?

Герой мой не нашел, что отвечать на этот вопрос. Говоря о препятствии, он имел в виду весьма существенное препятствие, а именно: решительное отсутствие в кармане презренного металла, столь необходимого для всех романических предприятий; но, не желая покуда открыть этого Варваре Александровне, свернул на какое-то раскаяние, которого, как и сам он был убежден, не могла бы чувствовать ни одна в мире женщина, удостоившаяся счастья сделаться его женою.

Приехав домой, Хозаров имел с Татьяной Ивановной серьезный разговор и именно в отношении этого предмета, то есть, каким бы образом достать под вексель презренного металла. Сообразительная Татьяна Ивановна первоначально стала в тупик.

– Ах, боже мой! – воскликнула она потом

голосом, исполненным радости и самой тонкой и далекой прозорливости. – Ах, боже мой! – повторила она. – Совсем из головы вон! Нельзя ли напасть на Ферапонта Григорьича? Их человек мне сказывал, что они отдают капитал в верные руки.

– Но даст ли он? – заметил недоверчиво Хозаров.

– Да отчего бы, как я по себе сужу, не дать? Вы, вероятно, как женитесь, так не возьмете на свою совесть.

– Конечно, но, знаете, он, как я мог заметить, должен быть ужасный провинциал: пожалуй, потребует залога, а где его вдруг возьмем? У меня есть и чистое имение, да в неделю его не заложишь.

– Это, пожалуй, может случиться, – заметила Татьяна Ивановна, – нынче в этаких случаях ужасно стало дурно: прежде, когда я жила в графском доме, я в один день достала, у одной моей знакомой, десять тысяч, а нынче десять рублей наприсишься. Но что за дело – попробуйте!

– Именно попробую, и попробую сейчас же, – сказал Хозаров, вставая.

– Что ж? Можно и сейчас, – подтвердила Татьяна Ивановна, – он дома; только чай еще начал пить.

Герой мой, довольно опытный в деле занятия денег, решился действительно тотчас же приступить к этому делу. С этой целью, одевшись сколько возможно франтоватее, он, нимало не медля, отправился к старому милашке Татьяны Ивановны и застал того за самоваром.

– Честь имею представиться, – сказал, входя, Хозаров.

– А! Наше вам почтение, – отвечал Феропонт Григорьич.

– Я давно желал иметь честь быть у вас и засвидетельствовать вам почтение, но, знаете, столица... удовольствия... дела... По крайней мере теперь, если я буду не в тягость...

– Помилуйте-с... ничего... прошу покорно садиться... не угодно ли чаю?

– Благодарю, я пил. Как вы проводите время?

– Понемногу. Вы, кажется, к.....ий помещик?

– Точно так, то есть имение мое там, но

сам я живу редко.

– Большое ваше имение?

– Нельзя сказать, что большое: пятьсот душ.

– А... однако пятьсот душ. А здесь вы изволите по каким причинам проживать?

– Как вам сказать? Я живу теперь здесь по причинам, если можно так выразиться, сердечным: я женюсь!

– В брак изволите вступать? А... доброе дело: нашего полка прибудет. Я сам также женатый человек, пятнадцать лет живу семьянином.

В дальнейшем затем разговоре Хозаров, видимо, старался подделаться под тон помещика. Он расспросил его подробно о его семействе и сам о своем тоже рассказал довольно подробно; переговорили и об охоте, и о лошадях, и о каком-то общем знакомом Вондюшине, который, по мнению обоих собеседников, был прекрасный человек для общества, но очень дурной для себя. По позднейшим сведениям, которые имел Хозаров об этом прекрасном для общества человеке, сей последний был в таком жалком положении, что

для пропитания своего играл на гитаре и плясал по трактирам.

Герой мой заметно начал нравиться Ферапону Григорьичу своими интересными разговорами.

– Я к вам имел бы одну маленькую просьбу, – начал довольно смело Хозаров после нескольких минут молчания.

– В чем могу служить? – спросил помещик.

– Вы, кажется, имеете свободные деньги?

– То есть как деньги? – спросил удивленный Ферапонт Григорьич.

– По случаю женитьбы я имею надобность в деньгах; не можете ли вы мне ссудить тысячу три на ассигнации? – проговорил Хозаров опять довольно смело, устремив на соседа испытывающий взор, так что тот потупился.

– С большим бы удовольствием, но я не имею денег, – отвечал, придя несколько в себя, Ферапонт Григорьич.

– Может быть, вы сомневаетесь, – начал снова Хозаров, – так как я еще имею честь так мало времени пользоваться вашим знакомством, но я могу представить вам поруку.

– Нет-с... помилуйте, вовсе не потому; но я

вовсе не имею денег, и даже сам бы у вас с большим удовольствием занял.

– Но это, сами согласитесь, Ферапонт Григорьич, пустячная сумма, я могу вам представить благонадежную поруку и дать хорошие проценты.

– Помилуйте-с... я не понимаю, к чему вы так беспокоитесь; честью моей заверяю, что я не имею денег.

– Но как же мне говорили?

– Вероятно, с вами пошутили?

– Как же пошутили: подобными вещами не шутят.

– Нет-с, иногда шутят, мало ли есть проказников. Да не хозяйка ли вам наврала? Она ужасная врунья... Не прикажете ли трубки?

– Благодарю... я курил, позвольте вам пожелать покойной ночи.

– Уже?

– Спать пора.

– Не смею удерживать, благодарю за посещение; завтрашний день постараюсь быть у вас.

– Весьма много обяжете. До приятного свидания.

– И с моей стороны также, – проговорил помещик, раскланиваясь.

«Этакий, подумаешь, московский франт, – сказал он сам себе по уходе Хозарова. – Видишь, на каких колесах подъехал: дай ему, чу, денег – пустячную сумму, три тысячи рублей, а самому, я думаю, перекусить нечего. Ну, Москва!.. Этакий здесь отчаянный народ... приломил к совершенно незнакомому человеку и на горло наступает; дай ему денег взаем; поручителя, говорит, представлю; хорош должен быть поручитель; какой-нибудь франт без штанов! Ай да Москва! Нечего оказывать – бьет с носка!.. Удивительно, какой здесь смелый живет народ!»

– Это такой скотина ваш Ферапонт Григорьич, – сказал Хозаров, входя к Татьяне Ивановне, – что уму невообразимо! Какой он дворянин... он черт его знает что такое! Какой-то кулак... выжига. Как вы думаете, что он мне отвечал? В подобных вещах порядочные люди, если и не желают дать, то отговариваются как-нибудь поделикатнее; говорят обыкновенно: «Позвольте, подумать... я скажу вам дня через два», и тому подобное, а этот мед-

ведь с первого слова заладил: «Нет денег», да и только.

– Скажите, какой странный человек, – сказала Татьяна Ивановна. – Я и прежде замечала, должен быть скупец, и скупец жадный.

– Он мало, что скупец, он человек, нетерпимый в обществе. Мне очень жаль, что я ходил к нему, а все по милости вашей.

– Да ведь я, Сергей Петрович, этого не думала, что он так поступит. Я наверное думала, что он даст; к нему как пристанешь, так он дает. Хорошо ли вы просили? Надобно с ним говорить поубедительнее.

– Вот прекрасно! Обыкновенно, как берут деньги взаем: не в ноги же ему кланяться, мне еще не до зарезу пришло; я найду денег; завтрашний же день возьму на какие-нибудь месяцы у Мамиловой.

– Чего же вам лучше... и прекрасно! – сказала Татьяна Ивановна. – Давно бы вам это придумать.

– Конечно, так. Женщины в этом отношении гораздо благороднее, они как-то деликатнее, лучше понимают эти вещи, а уж про Farbe Мамилову и говорить нечего: это ка-

кой-то феномен-женщина, и по сердцу и по уму – совершенный феномен.

Хозаров еще несколько времени беседовал с Татьяной Ивановной, и между ними положено было подождать несколько времени; к Мари написать завтрашний день записку, а между тем во всевозможных местах стараться занять денег.

В продолжение следующих за тем двух дней Марья Антоновна сдержала свое обещание, то есть плакала, лежала в постели и ничего не ела. До сих пор я еще ничего, с своей стороны, не говорил о героине моего романа, и не говорил, должен признаться, потому, что ничего не могу резкого и определенного сказать о ней. Что можно сказать о характере женщины, которая не совсем еще сформировалась? А Мари действительно была ребенок и весьма многого не понимала. Учившись в пансионе, например, она решительно не понимала ни второй части арифметики, ни грамматики и даже не понимала, что это такое за науки и для чего их учат. Бывши раз в театре, она с удивлением смотрела на даму, сидевшую в соседней ложе, которая облива-

лась горькими слезами, глядя на покойного Мочалова[10] в «Гамлете». Простодушная Мари ничего тут не понимала, и ей было даже скучно до тех пор, пока в последнем акте не начали биться на рапирах, тогда ей сделалось страшно. В музыке Мари тоже не совсем все понимала и любила больше обращать внимание на виньетки и рисунки, которыми обыкновенно украшаются нотные обертки. На оснований всех этих данных мы вполне можем согласиться с Катериной Архиповной, что Мари еще развивалась и покуда была совершенный ребенок. Против одного только я протестую, что будто бы молодая девушка не имела никакого кокетства, до сих пор не знает, что такое любовь, и боится одной мысли выйти за кого бы то ни было замуж. Во-первых, она имела кокетство, потому что еще с двенадцати лет очень любила вертеться перед зеркалом и умела весьма ловко потуплять глаза, когда в танцкласс привозили какого-нибудь Васеньку или Ванечку, не по дням, а по часам вырастающих из сшиваемых им курточек. В настоящее время она очень любила читать романы и весьма ясно понимала любовь; еще

года два тому назад она была влюблена в учителя истории, которого, впрочем, обожал весь класс, но Мари исключительно. Во всю бытность в пансионе она постоянно рисовала голову Париса, на которую походил обожаемый учитель. К Хозарову она чувствовала страсть и только о том и помышляла, как бы выйти за него замуж. Узнав, что Катерина Архиповна отказала ему, она очень рассердилась на мать и дала себе слово во что бы ни стало заставить старуху переменить свое намерение. Впрочем, Мари была, право, доброго характера; она умеренно пользовалась исключительной любовью матери, не весьма часто капризничала, сестер своих она не ненавидела, как ненавидели те ее, и вместе с тем страстно любила кошек. Но обратимся к моему рассказу. Я уже прежде сказал, что идол другие сутки ничего не ел. Страстная мать была как сумасшедшая: она решительно не знала, что ей делать и что предпринять. Старуха очень хорошо догадывалась, что бедное дитя сердится на нее за то, что она отказала Хозарову, но ей – матери-другу – ничего не говорит. Горько и обидно было ее материнскому сердцу; целые

ночи она проплакивала и промаливалась, а по дням все свои огорчения принималась вымещать на старших дочерях, а главное – на Антоне Федотыче. Пашет и Анет начинали тоже приходить в отчаяние, и, проплакав после маменькиной нотации целое утро, они принимались потихоньку в своей комнате ругать маменьку, папеньку и по преимуществу чертенка Машет, изъявляя общее желание, чтобы она поскорее или замуж выходила, или умирала. Антону Федотычу просто житья не было: мало того, что ему строжайшим образом было запрещено курить трубку на том основании, что будто бы табачный дым проходит наверх к идолу и беспокоит его; мало того, что Катерина Архиповна всей семье вместо обеда предоставила одну только три дня тому назад жареную говядину, – этого мало: у Антона Федотыча был отобран даже матрац и положен под перину Машет; про выговоры и говорить нечего; его бранили за все: и за то, что он говорит громко, и каблуками стучит, и даже за какое-то бессмысленное выражение лица, совершенно неприличное для отца, у которого так больна дочь. Все это Антон Федо-

тыч переносил первоначально со свойственным ему терпением и даже, стараясь принять участие в семейных хлопотах, сам бегал по нескольку раз в день в аптеку; но, наконец, не выдержал и, махнув рукой, куда-то отправился на целый день. Катерина Архиповна в самом деле была непохожа сама на себя: она даже наговорила дерзостей добряку Рожнову, когда тот начал было ее утешать и успокаивать. Она прямо ему сказала, что он никогда не был матерью и потому не может понимать ее горя и что если он и любит Мари, то любит ее как мужчина... Рожнов замолчал и скоро уехал. Таким образом, страстная мать была оставлена всеми. На третий день поутру она, наконец, решилась объясниться с дочерью и узнать, что такое с нею. В переводе это значило: узнать, чего хочется идолу, и исполнить по ее желанию. Что делать? Такова уж натура всех страстных матерей.

– Что, душа моя, лучше ли тебе? – сказала Катерина Архиповна, тихонько входя в комнату больной и садясь на ближайший стул.

– Не знаю, – отвечал идол, повернув голову в подушку.

– Ты бы покушала чего-нибудь, а то желудок ослабнет, – повторила мать.

– Не хочу-с.

– Но, друг мой! Что такое с тобою, – позволь мне послать за доктором.

– Не хочу-с.

– Но... друг мой!

– Не хочу-с... Пожалуй, посылайте! Я ничего не буду принимать и только еще буду плакать больше.

– Но за что же ты, Машенька, на меня сердишься, что же я тебе, друг мой, сделала? – сказала мать почти сквозь слезы.

– Я не сержусь.

– Нет, ты сердишься – я вижу; если ты что-нибудь чувствуешь, так кому же ты можешь сказать, как не матери: ты вспомни, мой друг, когда я тебе в чем отказывала? Мне горько, Машенька, что ты так переменилась ко мне... Друг мой, что такое с тобою? – проговорила Катерина Архиповна уже совершенно в слезах и, взяв руку дочери, поцеловала ее.

Мари тоже поцеловала руку матери, но не говорила ни слова. На глазах ее опять показались слезы.

– Ну, полно, друг мой, бога ради не плачь; а то, пожалуй, опять начнется истерика, – я сделаю, как хочешь, ты только скажи. Разве он тебе очень нравится?

– Да, мамаша.

– Но от кого ты узнала, что он сватался?

– Он мне сам сказал.

– Где же он тебе сказал?

– Не помню где.

– Ты выслушай меня, друг мой, но только не плачь, – это я говорю не серьезно, а так, – он совершенно неизвестный человек; может быть, он какой-нибудь развратный... мот... может быть, даже тебя обманывает?

– Нет, извините, мамаша, он меня любит.

– Разве он тебе говорил?

– Говорил.

– Где же?

– Не помню где.

Старуха задумалась.

– Вы ему напишите, мамаша, записочку, чтобы он приехал сегодня, а то он очень рассердится... Пожалуй, не будет к нам и ездить.

– Но, друг мой, к чему это поведет: неужели ты хочешь выйти за него замуж?

– Непременно за него, мамаша! Кроме его, ни за кого не пойду.

– А Иван Борисыч, Машенька?.. За что ты этого человека хочешь лишиться? Он очень добрый и благородный человек... тысяча душ, друг мой... ты будешь счастлива с ним, – тебе и теперь уже все завидуют.

– А вы что мне, мамаша, обещали, чтобы никогда не говорить про этого гадкого человека; я опять плакать начну.

– Ну, ну, я замолчу, не стану говорить, только ты встань, друг мой, и покушай...

– Нет, мамаша, не хочу.

– Но если я напишу ему записочку и буду звать к себе, – встанешь?

– Встану.

Старуха вздохнула и глубоко вздохнула: все надежды ее рушились. Долее уже не в состоянии была она продолжать разговора с дочерью и, придя в свою комнату, зарыдала и почти без чувств упала на голые доски кровати Антона Федотыча. Живое и ясное предчувствие говорило ей, что в этом браке ее идолу угрожает гибель и что она сама отрывает дочь свою от счастья, которое суждено бы ей

было в браке с Рожновым, и сама отдает ее какому-то пустому щеголю и отдает, может быть, на бедность, на нелюбовь и тому подобное. Велико ли состояние Мари? Всего сто душ после бабки да тысяч десять деньгами, десять тысяч, накопленные ее бережливостью. Из имени идола действительно, как говорил Ступицын, не издерживала Катерина Архиповна ни копейки. Отказывая во всем себе, Антону Федотычу и двум старшим дочерям, страстная мать из своих малых средств воспитывала Машеньку в пансионе, одевала ее гораздо лучше прочих и даже исполняла ее пустые прихоти; но за кого теперь она принуждена выдать свою любимицу – что это за человек? Вот что занимало теперь старуху после разговора ее с дочерью: остаться в прежнем намерении, то есть отказать Хозарову, она уже не имела сил, она уже не в состоянии была видеть, как Машенька плачет, страдает и ничего не ест. Но от кого бы по крайней мере узнать подробнее о женихе? Поручить Антону Федотычу, но он не умеет, да и налжет. Долго старуха думала и, наконец, решилась обратиться к Рожнову. Она и в этом случае

рассчитывала на великодушные отверженно-го искателя и полагала, что его можно будет упросить съездить и разузнать о счастливом сопернике. С этой целью она сама поехала к толстяку и застала его по обыкновению лежащим на диване и читающим книгу.

– А! Сердитая маменька, – сказал тот, приподнимаясь, – какими судьбами?

– Я к вам с просьбой.

– Слушаю-с.

– Вы так любите наше семейство, я так обязана много вам, что даже не в состоянии, кажется, и отблагодарить вас, и надеюсь, что вы не откажете в моей просьбе.

– У вас нет денег? – сказал толстяк.

– Ах нет, но у меня Маша очень страдает.

– Ваша Маша не страдает, а сентиментальничает: страдаете тут вы... Ну-с, что же вам угодно?

– Я к вам с просьбою.

– Это я слышал.

– Она любит его.

– То есть она влюблена в него, и это я знаю.

– Что мне делать?

– Выдать ее за того, в кого она влюблена.

- Пожалуйста, не говорите так.
- Как же мне говорить?
- Вы говорите очень насмешлива.
- Прикажете плакать?
- Ах нет... что вы это говорите: мне хотелось бы узнать, что это за человек.
- Зачем же вам это знать?
- Что это вы говорите, Иван Борисыч, зачем мне знать? Я мать!
- Послушайте, Катерина Архиповна, в подобных вещах нужно выбирать два полюса: или решительно не выдавать дочь, если это невыгодно по вашим понятиям, или выдавать без всякого размышления, а так, потому только, что дочке этого желается.
- Но мне хочется узнать, что это за человек. Узнайте, Иван Борисыч, и скажите, я вам верю.
- Премного благодарен за ваше доверие: только я не поеду узнавать.
- Но как же я узнаю?
- Это уж ваше дело.
- Вы сердитесь, Иван Борисыч, но чем же я-то виновата?
- И я не сержусь, и вы не виноваты, – отве-

чал он, – но только не поеду.

– Иван Борисыч!

– Не поеду-с.

У старухи покатались сначала слезы, потом она начала даже рыдать.

– О чем же вы плачете? – спросил толстяк.

– Все меня оставили; никто не хочет мне помочь, – говорила она, – никто не хочет даже узнать, что это за человек.

– Да зачем же вам?

– Как зачем!..

– Ну, а если я вам скажу, что он мерзавец?

– Как же это мерзавец?

– Да так, как обыкновенно бывают мерзавцы.

– Как вы это так говорите, в таком деле, Иван Борисыч; это, я думаю, на всю жизнь.

– Ну, не верите и прекрасно; вы оставайтесь при своем убеждении, а я при своем.

Катерина Архиповна больше не возражала: она догадалась, что Рожнов не мог быть беспристрастным исполнителем ее поручения, и потому тотчас же отправилась домой.

Толстяк, оставшись один, несколько времени ходил, задумавшись, взад и вперед по

комнате.

– Григорий! – закричал он.

Явился лакей.

– Вели собираться.

– Куда-с? – спросил тот.

– В деревню.

– Вот тебе на... Да зачем-с?

– А тебе зачем знать, дуралей? – вскрикнул
сверх обыкновения рассердившийся барин.

– Известное дело что мне: да коляска-то
еще у кузнеца.

– Я дам вам у кузнеца, остолопы! Чтоб сего-
дня же у меня было все готово.

– Да что вы на меня кричите: спрашивайте
с кучеров; мне что? Мое дело сесть да по-
ехать.

– Ну, не рассуждать! Пошел... собирайтесь.

Слуга, впрочем, не пошел собираться, а, на-
дев шапку и позвав другого лакея, отправи-
лись вместе в трактир.

Впрочем, как прислуга ни лениво сбира-
лась, как ни представляла барину тысячу пре-
пятствий, но на другой день в одной из мос-
ковских застав был записан выехавшим: на-
дворный советник Рожнов в К...

VI

На другой же день после описанной в предыдущей главе сцены Катерина Архиповна, наконец, решилась послать мужа к Хозарову с тем, чтобы он первоначально осмотрел хорошенько, как молодой человек живет, и, поразузнав стороною о его чине и состоянии, передал бы ему от нее письмо. Страстная мать уже окончательно не в состоянии была бороться с желанием дочери, тем более что Мари все еще ничего не ела и лежала в постели. Послание Катерины Архиповны, если не высказывало полного согласия на предложение моего героя, то в то же время было совершенно написано в другом духе, чем прежнее ее письмо, — это была ласковая, пригласительная записка приехать и переговорить об интересном и важном деле. Целый день был употреблен на отыскание Антона Федотыча, скрывавшегося где-то от семейных неприятностей; наконец, он был найден у трех офицеров, живших на одной квартире. Первоначально он, как водится, получил достождный выговор за свое ни с чем несообразное

поведение, а потом уже ему было объявлено и самое поручение, которому Антон Федотыч, с своей стороны, очень обрадовался. Пояснив супруге, что он все очень хорошо понял и потому прекрасно обделает это дело, тотчас же отправился к Хозарову и даже отправился, сверх ожидания, по распоряжению Катерины Архиповны на извозчике.

В этот же самый день, часу в четвертом пополудни, Хозаров вбежал так нечаянно и так быстро в номер Татьяны Ивановны, что она, лежа в это время на своей кровати и начав уже немного засыпать послеобеденным сном, даже испугалась и вскрикнула.

– Что это, почтеннейшая, вы изволите так бездействовать, тогда как я обделываю великие дела! – вскрикнул он, стаскивая хозяйку за руку с постели.

Он был, видно, в весьма хорошем расположении духа и, как кажется, немного навеселе.

– Пойдите, проказник, дайте поправиться. Ах, какой вы шалун! Ну, что такое там у вас случилось?

– Случился случай случайнейший. Во-первых, *voyez-vous, madame!*[11] – сказал он, вы-

нув из кармана футляр и раскрыв его перед глазами Татьяны Ивановны.

– Ах, какие прекрасные брильянты! Батюшка, ай, батюшка, посмотрите, средний-то с орех... Какие отличнейшие вещи! Где это вы взяли, купили, что ли?

– Это еще не все, мадам, я вам сказал прежде во-первых, но теперь во-вторых: *voyez!* – И он вынул из кармана бумажник, в котором было положено с тысячу рублей ассигнациями.

– Да что вы, проказник этакий, клад, что ли, нашли?

– Погодите, погодите, терпение, мадам, это еще не все: *regardez!*[12] – И он одернул перчатку с руки, на большом пальце которой красовался богатый перстень.

– Ах, какой отличный солитер[13]! Батюшка, Сергей Петрович, да где вы все эти богатства приобрели?

– Уж, конечно, не у вашего скота, Ферапонта Григорьича, позаимствовался. Всем этим богатством, что видите, наградила меня заимообразно моя милая фея, моя бесценная *Barbe* Мамилова.

– Варвара Александровна? Скажите, какая превосходнейшая женщина!

– Да-с, найдите-ка другую в нашем свете! С первого слова, только что заикнулся о нужде в трех тысячах, так даже сконфузилась, что нет у ней столько наличных денег; принесла свою шкатулку и отперла. «Берите, говорит, сколько тут есть!» Вот так женщина! Вот так душа! Истинно будешь благоговеть перед ней, потому что она, кажется, то существо, о котором именно можно оказать словами Пушкина: «В ней все гармония, все диво, все выше мира и страстей».

– Ну, я думаю, и вещи тоже ценные? – сказала Татьяна Ивановна. – Ах, какая прелестная работа! – продолжала она, с любопытством рассматривая баул.

– Да-с, я вам окажу, что для этой женщины нет слов на языке, чтобы выразить все ее добродетели: мало того, что отсчитала чистыми деньгами тысячу рублей; я бы, без сомнения, и этим удовлетворился, и это было бы для меня величайшее одолжение, так нет, этого мало: принесла еще вещи, говорит: «Возьмите и достаньте себе денег под них; это, я полагаю,

говорит, самое лучшее употребление, какое только может женщина сделать из своего украшения». А?.. Как вам покажется? Сколько в этих словах благородства, великодушия! Я, разумеется, намерен ей отплатить тем же и потому тотчас же поехал к маклеру и написал ей в три тысячи вексель; так даже и этого не хотела взять. Я убедил ее только тем, что я человек, и человек смертный, могу умереть и потому за ее великодушие не хочу на тот свет унести черной неблагодарности. Вот какова эта женщина, Татьяна Ивановна!

– Прекрасная должна быть дама! Вот, как я по всем словам вашим вижу, так, должно быть, предобреее она имеет сердце!

– И говорить нечего, она выше всяких слов! Но постойте, я никогда и нигде не позволял себе забывать людей, сделавших мне какое-либо одолжение: сегодняшнее же первое мое дело будет хоть часть заплатить моей Татьяне Ивановне, и потому не угодно ли вам взять покуда полтора ста рублей! – сказал Хозаров. – Примите, почтеннейшая, с моею искреннею благодарностью, – продолжал он, подавая хозяйке пачку ассигнаций, и затем пер-

воначально сжал ее руку, а потом поцеловал в щеку.

– Что это, бесстыдник какой, как это вам не совестно?.. – сказала, оконфузившись, но с явным удовольствием девица Замшева. – Да по стойте еще, повеса этакой, расплачиваться, дайте прежде сосчитаться.

– Без счетов, почтеннейшая! – воскликнул Хозаров. – Сегодня для меня такой веселый и торжественный день, что я решительно не могу вести никакого рода счетов. Будем жить и веселиться, ненадолго жизнь дана! – произнес он и, вскочив, схватил Татьяну Ивановну и начал с нею вальсировать по комнатам.

– Перестаньте, проказник этакой! Ай, ба-тюшки, завертели... посмотрите, гребенка выпала, – говорила сорокалетняя девица, делая быстрые туры с ловким танцором.

– C'est assez, madame, merci, grand merci[14], – сказал Хозаров, останавливая и сажая даму на стул.

Походя по комнате, он остановился перед хозяйкой.

– Мне пришла в голову прекрасная идея, – сказал он, – я хочу вашим постояльцам дать

маленькую вечеринку.

– Ой, Сергей Петрович, не советовала бы я вам, – возразила Татьяна Ивановна, – народ-то, знаете, такой все пустой, не вашего сорта люди; да и зачем вам?

– Нет, очень есть зачем: у меня тут есть особые виды. Вот, например, если я вздумаю увезти Мари, а это очень может случиться, в таком случае эти господа могут оказать мне великую помощь; то есть одни будут свидетелями, другой господин кучером, третий лакеем. Подобные вещи всегда делаются в присутствии благородных людей; а во-вторых, если будет оттуда, для спроса обо мне, какой-нибудь подсыл, то теперь они на меня могут бог знает что наболтать; но, побывав на пирушке, другое дело; тут они увидят, что я живу не по-ихнему, и неволью, знаете, по чувству этакое уважения и даже благодарности отзовутся в пользу мою. Я намерен позвать их всех, кроме этого свиньи, вашего Ферапонта Григорьича.

– Позовите и его: он хороший человек, только знаете, этакий деревенский, груб немного на словах.

– Ну, и то дело, – зла не надобно помнить.

– А музыканта позовете? – спросила Татьяна Ивановна не совсем твердым голосом.

– Непременно; как же могу я его не позвать? Это было бы, кажется, низко и неблагородно с моей стороны.

– Он прекрасный человек и вас чрезвычайно любит. Ревнует даже меня к вам.

– Скажите, какой Отелло, – сказал Хозаров с улыбкой.

– Вы, мужчины, все таковы... Что же у вас будет на вечеринке?.. Когда думаете, так уж время приготавливаться.

– Да, это правда. Впрочем, я большого не думаю: подать сперва чай, потом сварю жженку, а тут можно подать мороженое и какие-нибудь фрукты.

– Ой, не годится... совсем не годится... вовсе будет не по гостям вечер. Это ведь хорошо для каких-нибудь модных дам, а этим гораздо будет приличнее велеть приготовить чаю с ромом, да после велеть подать закуску с водкой и винца побольше.

– Но это будет как-то гадко, пошло... что-то такое купеческое.

– Вовсе не купеческое, а так, как обыкновенно между мужчинами.

– Нет, почтеннейшая, между мужчинами другого сорта это бывает не так; но, впрочем, хорошо... будь по-вашему; однако все-таки без шампанского нельзя.

– Ну, шампанское, конечно, будет очень прилично.

– Итак, почтеннейшая, первоначально отправляйтесь и возьмите, сколько по вашему соображению нужно будет, вина и извольте готовить чай, а я между тем пойду сзывать братию, и вот еще «статьи: свечей возьмите побольше, чтобы освещение было приличное, я терпеть не могу темноты. А propos[15]: мне пришла в голову счастливая мысль! По всем нумерам таскаться и всякого звать особо – скучно, да и не принято в свете, а потому я всем этим господам напишу пригласительные записки, как обыкновенно это делается.

– Что же, можно и так, – сказала Татьяна Ивановна. – Ах, Сергей Петрович, как я вот посмотрю на вас, живали вы, видно, в богатстве, видали вы людей.

– Да, почтеннейшая моя, живал и видал

людей, да и опять так заживу... Однако скажите мне имена и фамилии этих господ: на адресе надобно будет означить имена их и фамилии.

– А как их фамилии-то. В первом номере: сибарит – Виктор Прохорыч Казаненко; во втором – Семен Дмитрич Мазеневский; в третьем... этого вы знаете, – Ферапонт Григорьевич Телятин; в четвертом уж и позабыла, да! Черноволосый – Разумник Антиохыч Рушевич, а белокурый – Эспер Аркадьич Нумизмацкий. Но, впрочем, лучше бы вы не приглашали их... неприятный такой народ.

– Нельзя, почтеннейшая, этого между порядочными людьми не принято: если приглашать, так приглашать всех. Дальше?..

– Да что дальше?.. Этот, я думаю, не придет... больной человек.

– Но все-таки, как его?..

– Клементий, кажется, Иваныч или Кузьмич, должно быть, Иваныч.

– Ну, положим, Иваныч, а фамилия?

– Фамилия – Сидоров.

– Ну, Сидоров так Сидоров. Прощайте, почтеннейшая, хлопчите и готовьте, –

проговорил Хозаров и, соображаясь с составленным реестром, придя в свой номер, начал писать пригласительные билеты, утвердившие заключение Татьяны Ивановны касательно знания светской жизни, знания, которым бесспорно владел мой герой. Во-первых, эти билеты, как повелевает приличие света, были все одинакового содержания, а во-вторых, они были написаны самым кратким, но правильным и удобопонятным языком, именно:

«Сергей Петрович Хозаров покорнейше просит вас пожаловать к нему, сего же числа, на холостую пирушку, в семь часов вечера». На обороте были написаны, как водится, имена и фамилии приглашаемых. Такого рода распоряжение Хозарова, исполненное тонкой, светской вежливости, произвело на его сожильцов довольно странное и весьма разнообразное впечатление. Сибарит, прочитав пригласительную записку, сначала очень обрадовался. Ему уже заранее начал представляться холостой вечер с винами, с ужином, но вдруг задумался, потому что всякому хозяину недостаточно было пригласить сибарита, но

ему надобно было вместе с тем прислать гостю сюртук, галстук и некоторые другие принадлежности мужского костюма. Позови Хозаров так, просто, не по билетам, сибарит к нему рискнул бы отправиться в своем единственном друге – шинели. Но этот вечер должен быть хотя и холостой, но парадный. Всю свою надежду гость возложил на Татьяну Ивановну и решился покорнейше просить ее доставить ему от Хозарова приличный костюм и таким образом дать ему возможность быть на вечере.

Секретный милашка Татьяны Ивановны – музыкант, по скромности характера, на своем лице, покрытом угрями, не выразил никакого чувства по прочтении пригласительного билета, а только лаконически ответил: «Приду», и принялся писать ноты. Ферапонт Григорьич, получив приглашение, расхохотался. «А... каков в Москве народец, – начал он рассуждать сам с собой, – вчера денег просил займы, а сегодня вечер дает... Ну, мотыга же, видно! Еще не мошенник ли какой-нибудь? Нет, брат, не надуешь, не пойду: пожалуй, и в карман залезут».

– Ванька! Не слыхали ты, что такое у этого франта?

– Бал дает, сказывала хозяйка... Меня звали служить; полтинник, говорят, дадут-с, – отвечал возившийся около чемодана Ванька.

– Ну, так что ж? Ступай, дурак, коли ты будешь, так и я схожу, – сказал Ферапонт Григорьич. – Да смотри у меня не зевай; посмотривай на меня, и как мигну тебе, так не выдавай!

– Зачем выдавать, – отвечал лакей.

– Схожу... ничего, схожу... и посмотрю, что там такое, – говорил Ферапонт Григорьич. – Этакие, подумаешь, на свете есть ухарские головы! Вчера без копейки был, а сегодня вечер дает, и бог его знает где взял: может быть, кого-нибудь ограбил?..

Две неопределенные личности тоже не обратили должного внимания на приглашение, по крайней мере в первую минуту его получения. Это, может быть, произошло вследствие того, что черноволосый, остававшийся прежде почти в постоянном выигрыше, на этот раз за ремизился, а потому очень разгорячился. Белокурый, в надежде выиграть, то-

же разгорячился.

По окончании пульки они, хотя довольно односложно, но переговорили о вечере.

– Это зовут, – сказал черноволосый.

– Да, – отвечал белокурый.

– Будут ли картишки-то? – заметил черноволосый.

– Я думаю... только ты смотри, делай пальцами-то этак знаки.

– Известное дело, – не маленький, понимаю немного игру-то. Ты пойдешь в пальто?

– В пальто.

– Ну, ладно, а я во фраке.

Радужнее всех принял приглашение танцевальный учитель: несмотря на сильную ломоту, которую чувствовал во всем теле, он, прочитав записку, тотчас же вскочил с одра болезни и начал напевать известный куплет:

*Кума шен, кума крест;
Кума дальше от комоду;
Кума чашки разобьешь, –*

выделывая в то же время мастерские па из французской кадрили. Но дух его, стремящийся к рассеянию, недолго торжествовал над бо-

леющим телом. Ревматизм от сильного движения разыгрался: учитель повалился на постель и начал первоначально охать, потом стонать и, наконец, заплакал.

Почтеннейшая Татьяна Ивановна, не ограничивая свои заботы хозяйственными приготовлениями, успела обежать все номера и всем объявить, что у Хозарова будет приятельская пирушка, потому что он скоро женится на миллионерке и потому хочет всех своих знакомых угостить. Сибариту достала сюртук; даже в Ферапонте Григорьиче успела поселить совершенно другое мнение о Хозарове; а милашке-музыканту, не знаю почему, сочла за нужное весьма подробно объяснить, сколько и какого именно рода приготовлено винных напитков. На лице, покрытом угрями, появилось самое приятное выражение. Между тем хозяин, задумавшись, сидел в своем номере.

Ему было грустно, что у него такая дрянная квартира, а потому он не может дать вечера своим знакомым дамам, как дельывал это несколько раз в полку.

Настоящую же пирушку он затевал так,

без всякого особого удовольствия, потому только, что привык жить хорошо и, почувствовав в кармане деньги, хотел показать себя этой дряни в настоящем свете.

Татьяна Ивановна просто совершала чудеса: зная наклонности своего милашки иметь все в порядочном виде, она достала где-то подсвечники из накладного серебра и серебряную сахарницу; у Ферапонта Григорьяча выпросила, на свое собственное имя, совершенно новенький судок для водки и у одной знакомой достала гирную и прекрасную скатерть и дюжины полторы салфеток.

В восемь часов все было готово. Хозаров принимал всех в легоньком пальто, как надобно ожидать от светского человека, был очень вежлив к гостям. Сибариту, одетому в его собственный сюртук, он сжал дружески обе руки, с музыкантом даже поцеловался; Ферапонту Григорьячу, поблагодаря за лакея, как и следует, оказал исключительное почтение и тотчас же просил его сесть на диван. У каждой из неопределенных личностей пожал по руке с прибавлением: «Очень рад вас видеть, господа!» Что касается до гостей, то Фе-

рапонт Григорьич сохранял какую-то насмешливую мину и был очень важен; музыкант немного дик: поздоровавшись с хозяином, он тотчас же уселся в угол; две неопределенные личности, одна в теплом пальто, а другая во фраке бутылочного цвета, были таинственны; сибарит весел и только немного женировался тем, что хозяйский сюртук был не совсем впору и сильно тянул его руки назад. Ванька в сопровождении Татьяны Ивановны внес чай со стаканами, между которыми уже красовалась бутылка с ромом.

– Прямо пригласите пуншем, – шепнула Хозарову Татьяна Ивановна, знавшая лучше его склонности своих жильцов.

Хозаров сделал гримасу.

– Господа, прошу начинать с пунша, – сказал он. – Я человек холостой; у меня чай дурной, но ром должен быть порядочный. Феррапонт Григорьич, сделайте одолжение.

– Нет-с, благодарю; я не пью пуншу, – отвечал Феррапонт Григорьич. – «Нет, брат, не надуешь, – думал он сам про себя, – ты, пожалуй, напоишь, да и обделаешь. Этакий здесь народец, – продолжал рассуждать сам с собою по-

мещик, осматривая гостей, – какие у всех рожи-то нечеловеческие: образина на образине! Хозяин лучше всех с лица: хват малый; только, должно быть, страшная плутина!» Другие гости не отказались, подобно Ферапонту Григорьичу; они все сделали себе по пуншу и принялись пить.

Хозаров, как человек порядочного тона, начал чувствовать скуку в подобном обществе; с досады на себя, что ни с того ни с сего затеял подобный глупый зов, он и сам решился пить и спросил себе пуншу. Через несколько минут стаканы были пусты, по окончании которых почти у всех явилось желание покурить. Довольно полный комплект хозяйских чубуков мгновенно был разобран, и комната в несколько минут наполнилась непроницаемым дымом. Между тем распорядительная Татьяна Ивановна поднесла гостям новый пунш, который тоже был принят всеми, и даже Ферапонт Григорьич соблазнился и решился выпить с ромашкой. Сам хозяин тоже не отставал от гостей. Разговор оживился.

Черноволосая личность подошла к Хозарову и просила составить для него и для белово-

лосого приятеля партию в преферанс. Хозаров, с своей стороны, был готов, но только не отыскалось третьего партнера. Сибарит начал ходить по комнате и мурлыкать какую-то песню. Ферапонт Григорьич тоже оживился и, подозвав к себе своего Ваньку, велел подать себе еще пуншу. Но неусыпная девица Замшева видела и замечала все: она сама, в собственных руках, поднесла старому милашке стакан с крепчайшим пуншем, оделя таким же и прочую компанию. Все сделались неимоверно живы и веселы; все закурили и заговорили, даже музыкант начал что-то нашептывать на ухо Татьяне Ивановне. Хозаров тоже заметно подгулял.

– Господа! – сказал он, вставая с своего места. – Я вам очень обязан за сегодняшнее посещение и надеюсь, что с этого дня могу вас считать своими товарищами.

– Идет! – отвечал Ферапонт Григорьич, уже окончательно переменивший свое мнение о Хозарове.

– Конечно, можете, – отвечали все в один голос.

– Господа! Я, может быть, на днях буду

иметь нужду в вашей помощи, потому что думаю увезти девушку, и вас, как товарищей, буду просить помочь мне.

– Bravo!.. – закричал сибарит, оканчивая уже третий стакан.

– Я готов, – заметил разговорившийся музыкант, который, по расположению Татьяны Ивановны, справлялся уже с пятым стаканом.

– Пожалуй, – проговорили вместе две неопределенные личности.

– Ну, знаете, я бы и готов, но ведь, мне быть... – сказал Ферапонт Григорьич.

– Я не смею вас и беспокоить. Вы женатый человек, а все женатые для меня священные особы: они неприкосновенны! Но дело в том, что я в одну прекрасную лунную ночь... – На этом слове Хозаров остановился, потому что в комнату вбежала Татьяна Ивановна.

– Антон Федотыч, – сказала она.

– Бога ради, господа, ни слова о том, что я говорил! Это отец моей невесты.

Едва успел проговорить эти слова хозяин, как в дверях номера, сквозь табачный дым, обрисовалась колоссальная фигура Антона Федотыча.

– Фу! Как накурено, – сказал гость, – видно, что кавалерийская компания. Здравия желаем, – проговорил он, подходя к хозяину. – Мое почтение, господа, – продолжал он, раскланиваясь с гостями. – Очень рад, что имел удовольствие застать вас дома и, как вижу, в таком приятном обществе.

– Очень рад, мой драгоценнейший Антон Федотыч, – проговорил хозяин. – Прошу садиться. Не прикажете ли трубки... пуншу?

– Трубки и пуншу, то есть того и другого... можно-с... – произнес Ступицын. – Извините, – прибавил он, немного задев музыканта, который с большим любопытством осматривал нового гостя и вертелся около него.

– Иван! Трубки и пуншу сюда! – сказал хозяин. – Позвольте мне вам представить: Феропонт Григорыч Телятин!.. Антон Федотыч Ступицын!.. – проговорил хозяин, желая познакомить двух помещиков.

– Очень приятно, – сказал Ступицын.

– Весьма рад вашему знакомству, – отвечал Телятин; и оба они поместились на диване.

Антону Федотычу сейчас были предоставлены и трубка и пунш; но он на этот раз был

несколько странен, потому что, вместо того чтобы приняться за пунш и войти в разговоры с Ферапонтом Григорьичем, он встал, кивнул как-то таинственно головою хозяину и вышел из комнаты. Хозаров, разумеется, тотчас же последовал за ним.

– Извините меня, – сказал Ступицын, – я имею к вам маленький секрет: я слышал – на днях вы делали честь моей младшей дочери, и жена моя ничего вам не сказала окончательного. Я, конечно, как только узнал, тотчас все это решил. Теперь она сама пишет к вам и просит вас завтрашний день пожаловать к нам... – С этими словами Ступицын подал Хозарову записку Катерины Архиповны, который, прочитав ее, бросился обнимать будущего тестя.

– Вам бы надобно было действовать не так, – говорил Ступицын, – вам бы прямо тогда же сказать мне; я бы сделал это сейчас; но ведь, знаете, они – женщины, очень мнительны, боятся и сомневаются во всяких пустяках.

– Антон Федотыч! – начал с чувством Хозаров. – Я не могу теперь вам выразить, как я счастлив и как одолжен вами; а могу только

просить вас выпить у меня шампанского. Сегодня я этим господам делаю вечерок; хочется их немного потешить: нельзя!.. Люди очень добрые, но бедные... Живут без всякого почти развлечения... наша почти обязанность – людей с состоянием – доставлять удовольствия этим беднякам.

– Я тоже такого характера, – отвечал Ступицын, – и мне очень приятно, что мы сходимся с вами в этом отношении. Бог даст, со временем мы будем затевать этакие, знаете, маленькие пирушки; это, по моему мнению, очень приятно.

– Послушайте, Антон Федотыч, я сегодня так счастлив, так счастлив, что даже ничего не понимаю. Пойдемте!.. Я надеюсь, что вы у меня будете пить.

– Выпьем-с, потому что я в жизнь мою еще не отказывал ни в чем моим знакомым; но только наперед ваше честное слово: Катерина Архиповна велела непременно просить вас завтрашний день откусать у нас. Будете?

– Буду, конечно, буду. Неужели же вы думаете, что я не буду? Меня зовут в рай, а я не пойду... Это было бы сумасшествие с моей сто-

роны.

Будущий тесть и зять еще раз поцеловались и вошли в номер.

– Шампанского!.. – закричал Хозаров.

– Наперед бы водки, – заметил Ступицын, принимаясь за свой стакан пуншу.

– Ах, да... Татьяна Ивановна!.. Почтеннейшая!.. Пожалуйте нам водки!

Водка и закуска, конечно, были давно уже приготовлены, и приготовлены самым порядочным образом: кроме того, что закуска состояла из колбасы, сельдей, сыру, миног, к ней поданы были еще роскошное блюдо сосисок под капустою и полдюжины жареных голубей. Антон Федотыч первый принялся за водку; пожелав всем гостям всякого счастья в мире, он залпом выпил две рюмки водки, затем рюмку вина, еще рюмку вина и потом, освежившись рюмкою водки, принялся за роскошное блюдо с сосисками. Прочие гости тоже не положили охулки на руку. Два графина водки, четыре бутылки вина, колбаса, сельди и все прочее мгновенно было уничтожено. Очередь, наконец, дошла и до шампанского. Хозаров распорядился первоначально

только на три бутылки вдовы Клико, но, разгулявшись, велел принести еще полдюжины. Антон Федотыч разговорился донельзя и, познакомившись на короткую ногу со всеми и рассказав каждому что-нибудь интересное про себя, объявил, что у него на днях будет особенный случай и что он тогда поставит себе в непрременную обязанность просить всех господ пожаловать к нему откушать, надеясь угостить их удивительною белорыбицею, купленною чрез одного давнишнего его комиссионера в самом устье Волги. Окончание вечера было очень весело: все пели хором; музыкант единоголосно был избран в регенты. Сибарит и Татьяна Ивановна тянули дисканта; две неопределенные личности пели тенором; хозяин изображал альта; Антон Федотыч и Ферапонт Григорыч, равным образом как и сам регент, держали баса. Пели первоначально: «В старину живали деды»[16], потом «Лучинушку» и, наконец: «Мы живем среди полей и лесов дремучих»[17]; все это не совсем удавалось хору, который, однако, весьма хорошо поладил на старинной, но прекрасной песне: «В темном лесе, в темном лесе» и проч.

Антон Федотыч начал отпускать удивительные штуки; не ограничиваясь тем, что пил со всеми очередную, он схватил целую бутылку шампанского и взялся ее выпить, не переводя духа, залпом – и действительно всю почти вытянул мгновенно; но на самом уже конце поперхнулся, фыркнул на всю честную компанию, пошатнулся и почти без памяти упал на диван. К Татьяне Ивановне все были необыкновенно вежливы: даже черноволосая личность начала с нею заигрывать; но ревнивый музыкант остановил его и чуть было не сочинил истории. Гости разошлись часу в пятом. Антон Федотыч прежде всех уснул на диване. Все вообще были очень довольны: даже Феррапонт Григорыч ушел в самом миротворном расположении духа и, при прощании, целовался со всеми.

VII

Как ни подгулял Антон Федотыч, но, озабоченный поручением Катерины Архиповны, проснулся гораздо ранее своего хозяина и начал ломать свою голову, какую бы выдумать перед женой благовидную причину, вследствие которой он не ночевал дома. Но, увы! Голова Антона Федотыча имела то несчастное свойство человеческих голов, что после всякой приятельской пирушки не только не в состоянии была ничего порядочного изобрести, но даже с толком отвечать на вопросы. Долго Антон Федотыч делал усилие, чтобы заставить вместилище разума мыслить, но оно не повиновалось и только болело во всевозможных углах.

«Что будет, то будет», – подумал Ступицын и, приведя, сколько возможно, свою наружность в приличный вид, отправился держать ответ перед супругой.

Катерина Архиповна была в сильном беспокойстве и страшном ожесточении против мужа, который, вместо того чтобы по ее приказанию отдать Хозарову письмо и разведать

аккуратнее, как тот живет, есть ли у него состояние, какой у него чин, – не только ничего этого не сделал, но даже и сам куда-то пропал. Ощущаемое ею беспокойство тем было сильнее, что и Мари, зная, куда и зачем послан папенька, ожидала его возвращения с большим нетерпением и даже всю ночь, беденькая, не спала и заснула только к утру.

Часу в девятом Антон Федотыч, наконец, явился и, предчувствуя неминуемую грозу, хотел приласкаться к Катерине Архиповне и подошел было к ее руке, но рука была отдернута.

– Это что такое значит? Откуда вы изволили пожаловать?.. Боже мой! Что это у вас за лицо? Посмотрите, пожалуйста, в зеркало, какова ваша физиономия.

– Что физиономия?.. – спросил Ступицын.

– Да то физиономия; совершенно, как у мужика после праздника. Пили, что ли, вы всю ночь?

– Ничего физиономия.

– Вот прекрасно – ничего... весь опух... и ничего!

– Я угорел, – отвечал невпопад Ступицын.

– Он угорел; скажите, ради бога, он угорел!.. Где же это вы изволили угореть? Где вы ночевали-то? Отчего вы домой не пришли?

– Угорел...

– Да что вы такое говорите! Мне кажется, вы ничего не понимаете; я вас спрашиваю, где вы ночевали?

– У Хозарова.

– Да разве я вас ночевать туда посылала?.. Что я вам говорила? Что поручила? Помните ли вы это?.. Отдали ли по крайней мере письмо, которое я с вами посылала?

– Письмо?.. Письмо отдал.

– А узнали ли, что я вам говорила?

– Известно, что узнал.

– Ну, рассказывайте!

Как ни ломал Антон Федотыч свою странную голову для того, чтобы изобрести какой-нибудь приличный ответ, но ничего не мог придумать.

– Что рассказывать-то?.. – произнес он.

– Господи боже мой! – воскликнула, всплеснув руками, Катерина Архиповна. – Это превосходит всякое терпение: человек вы или нет, милостивый государь? Похожи ли

вы хоть на животное-то? И те о щенках своих попечение имеют, а в вас и этих-то чувств нет... Подите вы от меня куда-нибудь; не терзайте по крайней мере вашей физиономией. Великое дело поручила отцу семейства: подробнее рассмотреть, как живет, где, и что, и как? Так и этого-то не сумел и не хотел сделать.

– Я вам говорю, что я рассмотрел... – возразил Антон Федотыч.

– Что же вы рассмотрели?

– Все рассмотрел, все отлично.

– Велика квартира?

– Велика.

– Сколько комнат?

– Одна.

– Как? Велика – и одна? Да что вы такое говорите? С ума, что ли, вы сошли? Или еще не проспались?

– Ну, ладно-с! – возразил Антон Федотыч, встал и пошел.

– Постойте!.. Куда же вы идете?.. Скажите по крайней мере, будет ли Сергей Петрович сегодня?

– Будет, непременно придет, – отвечал Ан-

тон Федотыч и вышел.

Странная голова его мало того, что ничего не понимала, но начала еще кружиться, так что Ступицын почувствовал необходимую потребность выйти на свежий воздух.

– Этаким отвратительный человек, – говорила Катерина Архиповна, – вероятно, тот обрадовался и послал за шампанским, а этот безобразный урод и напился.

Часов в десять Мари проснулась, и первый ее вопрос, который она сделала матери, был: возвратился ли папенька, и придет ли сегодня Сергей Петрович?

– Придет, друг мой, непременно придет, – отвечала старуха.

Мари тотчас встала, спросила себе чаю с белым хлебом и потом начала одеваться. Она потребовала себе свое любимое шелковое платье и вообще туалетом своим очень много занималась; Пашет и Анет, интересовавшиеся знать, что такое происходит между папенькой, маменькой и Мари, подслушивали то у тех, то у других дверей и, наконец, начали догадываться, что вряд ли дело идет не о сватовстве Хозарова к Мари, и обе почувствовали

страшную зависть, особенно Анет, которая все время оставалась в приятном заблуждении, что Хозаров интересуется собственно ею. Катерина Архиповна ушла к себе в комнату, затворилась и начала молиться. Антон Федотыч, чем более странная голова его приходила в нормальное состояние, тем яснее начал сознавать, в какой мере он дурно исполнил возложенное на него поручение, и что ему непременно последует от супруги брань, и брань такого сорта, какой он никогда еще не получал, потому что дело шло об идоле, а в этом случае Катерина Архиповна не любила шутить.

Пораздумавшись, он решился на целый день дать куда-нибудь тягу и явиться домой в то время, как у Катерины Архиповны поуходится сердце.

В одиннадцать часов все дамы, в ожидании торжественного представления жениха, были одеты наряднее обыкновенного и сидели по своим обычным местам. Все они, конечно, испытывали весьма различные ощущения. Старуха в своей комнате была грустна, Мари сидела с нею; она была весела, но взвол-

нованна; в сердцах Пашет и Анет, сидевших в зале, бушевали зависть и досада.

Жених подъехал в щегольской парной карете, из которой проворно выскочил и, взбежав на крыльцо, сбросил свою шубу сопровождавшему его лакею и вошел. Пашет и Анет сухо ему поклонились; он прошел к Катерине Архиповне. При появлении его Марився вспыхнула; старуха силилась улыбнуться. Герой мой был тоже несколько взволнован и даже сел на предлагаемый ему стул не с обычною ему ловкостью и свободою. Катерина Архиповна посмотрела на дочь; та поняла и вышла. Несколько минут мать и жених сидели молча. Хозаров, очень хорошо уже поняв, что в семействе решено дать ему слово, решил не начинать первый; а старухе, кажется, было тяжело начать говорить о том, чего она не желала бы даже и во сне видеть.

– Вы сердитесь на меня, Сергей Петрович? – проговорила она.

– Напротив, я считаю за счастье, – отвечал Хозаров.

– Вы так меня тогда удивили, что я даже вдруг хорошенько сообразиться не могла и,

как мать, даже испугалась.

– Я очень понимаю, Катерина Архиповна, ваши чувства – и даже сам бы на вашем месте поступил точно таким же образом. В настоящем случае позвольте мне, Катерина Архиповна, попросить у вас извинения в моей дерзости. Что делать. Любовь заставляет нас иногда забывать общественные условия.

– Скажите мне одно, Сергей Петрович, вы любите Мари? – спросила Ступицына.

– Катерина Архиповна! – отвечал Хозаров, прижав руку к сердцу. – Есть чувства, которых человек не в состоянии выразить словами. Мне не выразить моих чувств словами, я могу только сознавать их в сердце.

– Да постоянно ли вы будете любить ее, не переменитесь ли?

– Перемена во мне может произойти тогда только, когда из этой груди вынут мое сердце и вместо него поставят чье-нибудь другое.

– Это все женихи, Сергей Петрович, говорят так, а как женятся, так и выходит другое.

– Зачем же смешивать себя с толпою? Почему же не быть исключением? Я, Катерина Архиповна, не мальчик; я много жил и много

размышлял. Я видел уже свет и людей и убедился, что человек может быть счастлив только в семейной жизни... Да и неужели же вы думаете, что кто бы это ни был, женись на Марье Антоновне, может разлюбить это дивное существо: для этого надо быть не человеком, а каким-то зверем бесчувственным.

– Нет, Сергей Петрович, это и не звери, а люди делают; мало ли мы видим примеров: мужья разлюбляют прекрасных жен и меняют их бог знает на кого.

– Клянусь моей любовью к Марье Антоновне, которая, конечно, для меня дороже всего, клянусь этой любовью, что я всю жизнь буду любить их! – произнес Хозаров.

Разговор на несколько времени прекратился.

– Вот еще что я хотела сказать, Сергей Петрович, – начала старуха, – мы небогаты: у Мари всего бабушкина усадьба с какими-нибудь...

– Бога ради, Катерина Архиповна, не говорите мне об этих вещах, которых я и знать не хочу, – перебил Хозаров, очень, впрочем, довольный, что услышал о бабушкином состоя-

нии, – я женюсь только на вашей дочери и желаю только владеть ими, а больше мне ничего не надобно.

– Очень верю, Сергей Петрович, вашему благородству, и поверьте, что я награжу Машеньку и награжу больше, чем даже следует по нашему состоянию, но достаточно ли это будет для семейной жизни?.. Имеете ли вы сами состояние?

– Я имею и свое состояние... вы видите, я живу – и живу в столице, – отвечал Хозаров, – но этого мало: имею же я некоторые способности, которые могу употребить на службу?.. И, наконец, у меня, Катерина Архиповна, две здоровые руки, которые готовы носить камень для того только, чтобы сделать Марью Антоновну счастливою.

– Не обманывайте меня, Сергей Петрович, вся моя жизнь, все мое счастье только в ней. Я не знаю, что со мною будет, если увижу, что я ошиблась; она еще молода, она сама не понимает, какой делает теперь важный шаг, но я мать; я должна ее руководить.

В продолжение этой речи у старухи навернулись на глазах слезы. Хозаров тоже был, ка-

жется, растроган и прижал к глазам платок.

– Я ничего не могу говорить и только благоговею перед вашими материнскими чувствами, – отвечал он.

– Поклянитесь мне еще, что вы сделаете ее счастливою, – сказала Катерина Архиповна, взяв героя моего за руку.

– Еще раз клянусь моею любовью сделать вашу дочь счастливою! – произнес Хозаров.

– Берите ее – она ваша, – сказала старуха и, зарыдав, упала на диван.

Хозаров между тем взял руку будущей маменьки и несколько раз поцеловал ее с чувством. Далее затем призвана была Мари. Катерина Архиповна, не переставая плакать, объявила дочери о предложении Хозарова. Мари сконфузилась и бросилась обнимать мать, а потом подала жениху руку, которую тот, как водится, страстно поцеловал. В следующей затем беседе Сергей Петрович был нежен с невестою, в то же время старался как можно более изъяслять почтения и глубокого уважения к Катерине Архиповне и начал ее уже именовать *belle-mere*[18]. Он не позабыл также и своих будущих *belles-soeurs*[19] и с

ними, по-родственному, очень мило шутил, обещаясь на будущее время подмечать, кто им нравится, и нынешнею же зимою выдать их замуж. На это обе девицы объявили, что они еще не хотят замуж; но Хозаров, по правам близкого родственника, обещал, как делалось это в старину, выдать их насильно и уморительно описал эту сцену, как повезет он их с связанными руками в церковь венчать. Обе девицы, несмотря на чувствуемую зависть, расхохотались и утвердительно сказали, что не дадут себя связывать; одним словом, в это утро герой мой успел до невероятности всем понравиться. Невеста, как мы и прежде еще знали, его обожала; Пашет и Анет остались весьма довольными его любезностью и вниманием; даже сама Катерина Архиповна начала его понимать в другом смысле; из предыдущей сцены она убедилась, что будущий зять очень любит Мари, потому что он не только сам не спросил о приданом, но и ей не дал договорить об этом предмете. Заискав таким образом во всех членах семейства, Сергей Петрович начал просить позволения – съездить на несколько времени домой и рас-

порядиться по некоторым экстренным домашним делам, обещаясь в шесть часов вечера явиться на приятнейшее для него дежурство у ног невесты.

Откровенно говоря, Хозаров не имел никаких экстренных дел; но ему хотелось побывать у Варвары Александровны, рассказать ей, что с ним случилось, и порисоваться перед нею своими пылкими чувствами.

Мамилова очень обрадовалась приезду друга.

– Где вы и что с вами? – спросила она гостя, подавая ему руку.

– Судьба моя решена – я женюсь, – отвечал тот.

– Право? Каким же образом это случилось?

– И сам не знаю; вчера получил приглашительную записку, а сегодня дано и слово.

– Слава богу, опомнились; это было бы с их стороны просто сумасшествие – отказать вам. Ну, что же вы, счастливы теперь?

– Я не понимаю еще хорошенько, что со мною; у меня как-то замерло сердце, и я ничего ясно не могу ни чувствовать, ни понимать.

– Вот вы мужчина, а говорите, что у вас за-

мерло сердце; что же должна чувствовать женщина в эти страшные для нее минуты! Что ваша невеста – весела?

– Да, она очень весела: она еще очень молода и потому беспечна.

– Нет, это не потому что молода, но она любит вас... Ах, как это первое время тяжело для тех женщин, которые идут не по любви! После как-то свыкнешься с этой мыслью, но вначале – это ужасно.

– Что вы, Варвара Александровна, чувствовали в это время?

– Что я чувствовала?.. – отвечала со вздохом и несколько смутившись хозяйка. – Я ничего не чувствовала; я была тогда глупа, слепа, нема; я выходила, или, лучше сказать, это выходила замуж не я, а кто-то другая; я не понимала, что я для жениха моего так, игрушка, временная забава, и уже после, гораздо позже, когда воротить было невозможно, я поняла, что такое мужчина, и особенно мужчина в сорок лет. Но, впрочем, не спрашивайте меня: зачем вам знать историю моего сердца, она скучна и неинтересна; я могу только сказать, что я не живу, а прозябаю.

– Знаете ли, что я думаю? Вам, с вашей поэтической душой, не следовало бы выходить замуж.

– Это почему вы так думаете?

– Потому, что вы так умны; ваше сердце столько возвышенно, что вам из мужчин нет равного: они все ниже вас.

– Ах, как вы ошибаетесь, Сергей Петрович! Как мало нужно для моего великого ума и для моего возвышенного сердца – одна любовь и больше ничего... Любовь, если хотите, среди бедности, но живая, страстная любовь; чтобы человек понимал меня, чувствовал каждое биение моего сердца, чтобы он, из симпатии, скучал, когда мне скучно, чтобы он был весел моим весельем. Вот что бы надобно было, и я сочла бы себя счастливейшей в мире женщиной.

– Неужели же Лев Павлович не отвечает на ваши прекрасные требования? Неужели он вашим благородным стремлениям не сочувствовал?

– Лев Павлович?.. Лев Павлович, как и все мужчины: он с самых первых пор или скучал, или даже смеялся над моими стремлениями.

Он окружал меня богатством, удовлетворял мои прихоти, впрочем, всегда с оговорками, и потому полагал, что уже все сделал, что я даже не должна сметь ничего желать более. Но, бога ради, не спрашивайте меня: видите во мне вашего друга... старуху, которая вам желает счастья... и больше ничего! Расскажите мне лучше что-нибудь про себя: когда вы думаете назначить свадьбу?

– Я, с своей стороны, буду настаивать как можно скорее: знаете, любовь нетерпелива...

– Да, кончайте эту скучную процедуру скорее, будут толки, сплетни, и зачем вам допускать подобные пошлости в вашем браке, который не должен походить на другие свадьбы? Где вы думаете после жить?

– Без сомнения, в Москве, – отвечал Хозаров. – Неужели же ехать в эту ужасную провинцию?

– Не забывайте ваших старых друзей, а в том числе и меня, – сказала Мамилова.

Хозаров встал и поцеловал у ней руку.

– То, что вы сделали для меня, – сказал он с чувством, – так заключено глубоко в моем сердце, так срослось с этим сердцем, что одна

только смерть может уничтожить чувство благодарности... одно это одолжение деньгами...

– Не говорите, пожалуйста, об этих пустяках, – перебила хозяйка. – Знаете ли что? Я не люблю денег и считаю их решительно за какие-то пустяки: по-моему, кажется, отдать кому деньги или самому у кого-нибудь взять – это такая обыкновенная вещь, о которой не стоит и думать.

– Я в этом не согласен с вами. Деньги – рычаг всего. При деньгах можно все сделать.

Мамилова сомнительно покачала головой.

– Не спорьте, Варвара Александровна, в этом, а лучше скажите мне: чего нельзя сделать для своего удовольствия на деньги?

– А например, найти, милостивый государь, друга, – перебила резко хозяйка. – Найдите с вашими всемогущими деньгами друга!

– Да, это другое дело; но, впрочем, есть поговорка, что с деньгами и друзей много.

– Не друзей, Сергей Петрович, а льстецов, вы хотите, верно, сказать. Но друга, истинного друга не купите вы на деньги.

– Зачем же так углубляться в жизнь. Мы

можем и льстецов считать за друзей; есть прекрасные на этот предмет стихи: «У дружбы есть двойчатка лезть: они с лица отчасти схожи».

– Ну, бог с ними – и с деньгами и с лестью, – все это не моего романа. Скажите лучше мне, как вы думаете вести себя с вашей будущей женой?

– То есть как? – спросил Хозаров. – Как обыкновенно, я полагаю, обращаются люди образованные, когда они любят.

– Бога ради, не обращайтесь так, как обращаются образованные и умные мужья. Это значит, с первого же раза, начать переделывать молоденькое и покорное существо на свой лад. Оно, конечно, будет повиноваться и подделываться под ваши понятия; но в то же время оно будет убивать самое себя. Ведите себя просто, как бог вас создал, занимайтесь с этим молоденьким созданием пустяками, которые ее занимают, болтайте с ней, играйте. Что вы смотрите на меня с удивлением? Если вы любите ее, то вам самим будет весело; а если нет, то и говорить нечего. Поверьте мне, что если вы хотите быть счастливым в вашем

браке, то и не должны себя вести иначе.

– Я люблю мою невесту, – и из этого слова можете ясно заключить, как я буду вести себя.

Долго еще продолжалась беседа между женихом и Варварой Александровной. Брачные отношения были разобраны ими в самых мельчайших подробностях: много, конечно, Варвара Александровна, обладающая таким умом, высказала глубоких и серьезных истин; много в герой мой, тоже обладавший даром слова, сделал прекрасных замечаний; но я не решаюсь передать во всей подробности разговор их, потому что боюсь утомить читателя, и скажу только, что Хозаров отобедал у Мамиловой и уехал от нее часу в шестом. Домой заехал он на минуту для того только, чтобы, пользуясь свободою жениха, переменить свой фрак на, сюртук. Здесь, конечно, явилась к нему другой его друг – Татьяна Ивановна, и, конечно, Сергей Петрович поставил себе в обязанность и ей объявить весьма подробно о всем том, что касалось до женитьбы.

– Вот ваше дело обделалось, слава богу, хорошо, – сказала Татьяна Ивановна грустным

ГОЛОСОМ, – а я все-таки осталась обижена; меня, может быть, не будут и в дом к себе пускать.

– Вот пустяки, – кто из них смеет это подумать, я всех их заставлю вас уважать!

– Нет, Сергей Петрович, это невозможно, – возразила Татьяна Ивановна.

– А вот посмотрите, – отвечал Хозаров.

В шесть часов он отправился на приятнейшее для него дежурство, где невеста и Катерина Архиповна ожидали его с величайшим нетерпением. Впрочем, герой мой, как следует влюбленному жениху, заехал первоначально к Люке и взял там фунтов десять различных сортов конфет. Приехав, он был непомерно мил; зная из прежних разговоров, что Катерина Архиповна очень любит грецкие орехи в сахаре, будущий зять не преминул в кондитерской отобрать для тещи штук тридцать конфет именно этого сорта; невесте были привезены целые пять фунтов и сверх того в прекрасном картоне; для Пашет и Анет у Хозарова тоже были приготовлены конфеты, но он им их не показал, а объявил, что привез им женихов, которых и держит покуда в кар-

мане. Пашет и Анет сначала помирились со сме-ху, а потом приступили к нему, чтобы он по-казал и не держал бы несчастных женихов в кармане.

Хозаров долго мучил любопытных двух де-виц и, наконец, вынул и представил им же-нихов. Оказалось, что они были из красного леденца. Один из них, для Пашет, был, кажет-ся, французский кирасир в шишаке и с рука-ми, сложенными на груди крестообразно; для Анет же – в круглой шляпе и державший ру-ки наподобие ферта. Кроме сего, к обоим же-никам было приложено по целому фунту кон-фет.

Посмеявшись и пошутив таким образом с своими *belles-soeurs*, Хозаров начал заниматься с невестою и вступил во все права жениха. Первоначально он увел ее в залу и, взяв за та-лию, начал с нею ходить взад и вперед по комнате. Разговор между ними был следую-щий:

– Итак, Мари, наши желания увенчивают-ся успехом, – сказал Сергей Петрович, – те-перь я могу вас спросить, давно ли вы меня любите?

– Давно... постоит... это именно с того вечера, как, помните, в Ко... на вечере я танцевала с вами польку.

– Вообразите, Мари, что значит симпатия! В этот же вечер решила и моя участь: увидя вас, я как будто переродился; во мне вдруг явилось желание жениться, чего мне прежде и не снилось... Вся моя прошлая жизнь показалась мне так пошла, так глупа, что я возненавидел самого себя.

– Что это значит симпатия? – спросила Мари.

– О! Это слово имеет большое в жизни значение, – сказал Хозаров. – Симпатия значит родство душ; так что, если расторгнуть эти две души, между которыми существует симпатия, то жизнь их будет неполна; в каждой из них как будто бы будет чего-то недоставать. Возьмите этот билетик, – продолжал он, развертывая конфетный билетик, – тут написано: «Я знаю, ты мне послан богом, до гроба ты хранитель мой». Тут есть полная мысль, но разорвите его пополам: на одной половине осталось: «Я знаю, ты мне послан богом», а на другой – «до гроба ты хранитель мой». Хоть

в каждой есть смысл, но неполный, – таков смысл и двух разрозненных душ, связанных симпатическим родством. – Здесь герой мой остановился, заметя, что уж чересчур забрался в отвлеченности, которые Мари совсем не понимала, да и сам он не очень ясно уразумевал то, о чем говорил.

– Кто живет на луне? – спросила вдруг Мари. – Неужели и там есть люди? Им, я думаю, холодно.

– Ну, Мари, этот вопрос могут решить только ученые.

– Неужели же они знают, что там делается!.. Это очень далеко.

– У них для этого есть трубы, в которые они наблюдают.

– Кис, кис, кис!.. – вскрикнула Мари и, оставив жениха, бросилась к двери, в которой показался огромный рыжий кот. – Сергей Петрович, посмотрите, какие у него маленькие глазки – и какие он славные песни поет, – прибавила она, взяв кота на руки и поднося его к Хозарову, который сначала погладил кота, а потом взял его за усы и потихоньку потянул. Кот оскорбился и царапнул дерзкую ру-

ку. Хозаров отдернул. Маша покатила со смеху. Возня с котом продолжалась около четверти часа: Мари гладила его, заставляла танцевать, подняв на задние лапки, и, наконец, повязала ему голову носовым платком, отчего у кота действительно сделалась преуморительная физиономия, так что даже Сергей Петрович расхохотался.

После истории с котом речь зашла о новой польке-мазурке, которую Сергей Петрович уже щегольски танцевал, но невеста еще не знала. Хозаров начал ее учить, и оказалось, что Мари весьма способна и понятлива для танцевального дела: с двух – трех раз она выделявала па правильно и отчетливо. От танцев щечки ее разгорелись; шелковая мантилья спала и открыла полную, белую шею и грудь; черные глазки разгорелись еще живее, роскошные волосы, распустившиеся кудрями, падали на плечи и на лоб. Герой мой затрепетал, созерцая свою невесту, и потому, на правах жениха, посадил ее с собою на диван, обнял и начал целовать ее ручки, щечки, глазки, шейку и грудь. Мари слабо сопротивлялась. В это время через залу прошла Катерина

Архиповна. Жених и невеста сконфузились.

Катерина Архиповна ничего им не сказала, но, пройдя в другую комнату, крикнула Анет и велела той идти сидеть в зале, и если куда нужно будет выйти, то послать туда сестру. Когда Анет пришла в залу, жених и невеста сидели все еще рядом, и Хозаров держал Мари за руку. Зависть, усыпленная на время любезностью Хозарова, снова закралась в сердце девушки: с серьезным лицом уселась она на дальний стул и уставила свои глаза на оконный переплет, чтобы только не видеть счастья другой – счастья, о котором она когда-то сама мечтала.

– *Ma belle-soeur!* – сказал Хозаров. – Что поделывает ваш сладкий жених?

– Не знаю, – отвечала сухо девушка, – я его куда-то засунула.

– А Павлы Антоновны?

– Она своему голову скусила, – отвечала с улыбкою Анет.

Сергей Петрович и Мари померли со смеху.

– *O mon dieu, mon dieu*[20], – воскликнул Хозаров, – какая же жалкая участь ваших женихов! Вы своего затеряли, а Павла Антонов-

на даже скусила своему голову! Не поступайте вы, Мари, со мною так жестоко, – прибавил он, обращаясь к невесте, которая, с своей стороны, ничего не отвечала и только крепко пожала жениху руку.

Пашет в самом деле жестоко распорядилась с подарком Хозарова: наследуя от папеньки прекрасный аппетит ко всему съедобному, она первоначально съела все доставшиеся на ее долю конфеты, а потом принялась и за жениха; сначала откусила ему ноги, а потом, не утерпев, покончила и всего, и последний остаток – женихову голову в шишаке, вероятно, с целью продлить наслаждение, очень долго сосала. Анет не засунула своего жениха; она его, вместе со всеми подаренными конфетами, прибрала далеко, в самый потайной свой ящик, имея в виду со временем показать их какой-нибудь задушевной приятельнице и вместе с тем рассказать, что эти конфеты подарил ей один человек, который любил ее, но теперь уже не любит, потому что умер. Нам известно, что Анет, как и папенька, любила сказать красное словцо, то есть задушевные свои мечтания выдать за

действительность.

Далее в этот вечер ничего уже не случилось более достопримечательного, кроме разве того, что Анет была сменена с своего дежурства пришедшим папенькою и потому тотчас же ушла к себе наверх. Антон Федотыч явился домой с головой, окончательно приведенною в нормальное состояние, и потому сильно трусил предстоящего ему объяснения с супругою. Увидев Хозарова, он очень обрадовался, потому что по опыту уже знал, что Катерина Архиповна в присутствии посторонних не входила в крайности и ограничивалась только тем, что разве скажет ему небольшую колкость. Увидев, что Хозаров сидит рядом с Мари и даже держит ее за руку, – он сообразил, что дело уже покончено, вследствие чего и решился перед будущим зятем немного поважничать.

– Здравствуйте, Антон Федотыч, – сказал жених довольно фамильярно.

– А... наше вам почтение!.. Отчего не накрывают на стол: разве не знают, что я в одиннадцать часов ужинаю? – сказал Антон Федотыч, садясь на стул. – Нет ли, Сергей Пет-

рович, с вами сигарок? Я свои захватил все с собою и потерял портсигар дорогой.

Хозаров подал тестю сигару, которую Антон Федотыч тотчас же и закурил.

– Ты не давай папеньке сигар, – сказала шепотом Мари, – маменька терпеть не может, чтобы он курил, потому что он все сорит.

Ужин Ступицыных на этот раз не походил на обычные их ужины. Катерина Архиповна распорядилась, чтобы к нему были приготовлены котлеты из телятины, и вечно жареная говядина заменена тетеркою. Кроме того, перед ужином была подана водка и потом поставлена на стол бутылка с мадерою. Антон Федотыч, разумеется, воспользовался случаем: он почти залпом выпил две рюмки водки, заставя то же сделать и Сергея Петровича. За ужином Ступицын очень боялся того, чтобы жена не начала выговаривать, но все-таки сохранил присутствие духа и, вместе с Пашетой, уничтожил большую часть каждого блюда и выпил почти полбутылки вина. Прочие ничего не ели, Хозаров пил мадеру и разговаривал с невестой, которая, вероятно от волнения, тоже пила очень много воды Катерина

Архиповна и Анет были скучны.

VIII

«**C**here Claudine!

Опять я давно не писала к тебе и опять по той же причине, что нечего писать. Каждый день мой есть томительное повторение вчерашнего, а вчерашние дни мои ты знаешь очень хорошо. Последнее время меня развлекала и занимала свадьба Хозарова, о которой я тебе уже писала. Наконец, они женились. Стыдно сказать, Claudine, но я люблю и завидую их счастью. О, как должно быть полно это счастье! Они так любят, так стоят друг друга, они восторжествовали над препятствиями, которые ставили им свет и люди. Вот уже более недели, как они обвенчаны и живут в маленьком, но прелестном домике на Гороховом поле. Я у них провожу почти целые дни. Если хочешь, они немного смешны: представь себе, целые дни целуются; но я, опять повторяю тебе, радуюсь за них; холодные светские умы, может быть, назовут это неприличным; но – боже мой! – неужели для этого несносного благоразумия мы должны приносить в жертву самые лучшие мину-

ты нашей жизни!.. А сколько на свете людей, для которых даже и не существовало и не будет существовать этого поэтического времени! Я моим птенцам сочувствую. Для самой меня, как я ни желала, как я ни мечтала об этом, не существовало подобных минут. На самых первых порах я сама была, да и заставили меня быть, благоразумною и приличною.

Прощай, мой друг!

Твоя Варбе Мамилова».

Вскоре за сим письмом в маленьком, но прелестном домике происходила, по крайней мере вначале, самая утешительная, самая отрадная семейная сцена. Это было вечером: Сергей Петрович Хозаров, в бархатном халате, сидел на краю мягкого дивана, на котором полулежала Марья Антоновна, склонив прекрасную головку свою на колени супруга, и дремала. Хозаров тоже полудремал. Одна только Катерина Архиповна бодрствовала и вязала чулок. Страстная мать уже переселилась к молодым и спровадила Антона Федотыча с двумя старшими дочерьми в деревню.

– Мари, а Мари! Вставай, друг мой, – сказал Хозаров, которому, видно, наскучило сидеть в положении подушки.

Мари открыла ненадолго глаза, улыбнулась и опять задремала. Хозаров наклонился и поцеловал жену.

– Перестаньте, Сергей Петрович, тормозить ее... что это, какой вы странный! Не дадите успокоиться, – сказала Катерина Архиповна.

– Но что ж такое, мамаша? Я полагаю, что по вечерам спать очень вредно, – возразил Хозаров.

– Как это вы смешно говорите: вредно! Разве вы знаете, в каком она теперь положении; может быть, ей это даже нужно; может быть, этого сама природа требует.

– Мне самому бы, мамаша, встать хотелось.

– Да, вот это справедливее, что вам самому скучно. Ну, это, Сергей Петрович, не большое доказательство любви.

– Помилуйте, Катерина Архиповна, любовь доказывается не в подобных вещах.

– К чему же вы все это говорите так громко?.. Вероятно, чтобы разбудить ее. Я этого,

признаюсь, не ожидала от вас, Сергей Петрович!

– Я не знаю, почему вам, мамаша, угодно таким образом перетолковывать мои слова.

– Я не перетолковываю ваших слов, и очень странно, если бы я, мать, стала перетолковывать что бы то ни было... А я все очень хорошо вижу и все очень хорошо понимаю.

– То есть вам угодно видеть и понимать все в дурную сторону.

Катерина Архиповна хотела было возразить, но остановилась, потому что Мари проснулась и села.

– Что ты, друг мой, видела во сне? – сказал Хозаров, беря жену за руку.

– Ничего... снились только премиленькие черные котятки – и пресмешные: я их кормила все молоком, а они не ели.

– Разве ты думала, друг мой, о котятках?

– Нет, сегодня не думала.

– Ты ужасное еще, Мари, дитя, – сказал Хозаров.

– Сам ты дитя! Почему же я дитя?

– Да так, мой друг, ты дитя; но только ми-

лое дитя, даже во сне видишь котят; это очень мило и наивно!

– Сами вы наивный. Куда же ты встал?

– Мне, друг мой, надобно съездить в клуб.

– Вот прекрасно... не извольте ездить; я сижу дома, а он поедет в клуб – и я с тобой поеду...

– Друг мой, это не принято.

Катерина Архиповна, слушавшая всю эту сцену с лицом сердитым и неприятным, наконец вмешалась в разговор.

– Я не знаю, Сергей Петрович, как вы поедете в клуб, – жена ваша не так здорова, а вы ее хотите оставить одну... тем более, что она этого не желает.

– Но сами согласитесь, мамаша, что это странно.

– Для вас, может быть, действительно это странно; но что же делать, если она вас любит и желает быть с вами.

– Господи боже мой! Я сам ее люблю; но все-таки могу съездить в клуб.

– Поезжайте!.. Кто же вас удерживает? – сказала, наконец, Мари. – Мне все равно; я и с мамашей буду сидеть.

– Друг мой, нельзя же совершенно отказаться от общества! – возразил Хозаров.

– Поезжай, – сказала Машет и надулась.

– Семьянин, мне кажется, не должен и думать об обществе, – заметила резко Катерина Архиповна. – Кроме того, Сергей Петрович, чтобы ездить по клубам, для этого надобно, мне кажется, иметь деньги, а вы еще не совершенно устроили себя, у вас еще нет и экипажа, который вы даже обещались иметь.

Хозаров ничего не отвечал на этот намек и вышел в залу, по которой начал ходить взад и вперед, задумавшись. Спустя четверть часа к нему вышла Катерина Архиповна.

– Что же вы, Сергей Петрович, оставили вашу жену? Что вы хотите этим показать?

– Помилуйте-с... я дома и, как следует семьянину, не уехал в клуб, – отвечал Хозаров.

– Все равно: вы ушли от нее; вы пойдите посмотрите; она почти в истерике от ваших фарсов. Это бесчеловечно, Сергей Петрович... Зачем же вы женились, когда так любите светскую жизнь?

Хозаров ничего не отвечал теще и пошел в гостиную, где действительно нашел жену в

слезах.

– Не плачьте, Мари! Что это за ребячество, – сказал он, садясь около нее на диван и обнимая ее.

– А зачем же вы в клуб сбирались? Мне, я думаю, одной скучно, – отвечала Мари.

– Ну, не извольте же плакать от всяких пустяков; я не поехал – и довольно; лучше давай в ладошки играть.

Затем молодые начали играть в весьма занимательную игру, которую Сергей Петрович назвал в ладошки; она состояла в том, что оба они первоначально ударяли друг друга правой ладонью в правую и левой в левую; потом правой в левую и левой в правую, и, наконец, снова правой в правую, левой в левую, и так далее.

Такого рода замысловатую игру молодые продолжали около получаса. Марье Антоновне было очень весело. Катерина Архиповна, увидев, что молодые начали заниматься игрою в ладошки, ушла в свою комнату. Хозаров первый покончил играть.

– Ну, довольно! – сказал он.

– Давай, Серж, еще играть.

– Будет, милочка! Мне еще надобно с тобой поговорить о серьезном предмете. Послушай, друг мой! – начал Хозаров с мрачным выражением лица. – Катерина Архиповна очень дурно себя ведет в отношении меня: за всю мою вежливость и почтение, которое я оказываю ей на каждом шагу, она говорит мне беспрестанно колкости; да и к тому же, к чему ей мешаться в наши отношения: мы муж и жена; между нами никто не может быть судьей.

– Она на тебя сердится, Серж. Она говорит, что ты обманщик и все неправду сказал, что у тебя есть состояние.

– И это не ее дело, есть ли у меня состояние, или нет; она должна только отдать тебе твое и наградить тебя, как следует, – и больше ничего! Я даже полагаю, что ей гораздо было бы приличнее жить с своим семейством, чем с нами.

– Она говорит, что ни за что этого не сделает; сама будет управлять имением и жить с нами, а нам давать две тысячи в год.

– Вот тебе на!.. Прекрасно... бесподобно... Сама будет твоим имением управлять и нам будет выдавать по копейкам... Надзиратель-

ница какая, скажите, пожалуйста! Ты сделай милость, Мари, поговори ей, что это невозможно: я для свадьбы задолжал, и у меня ни копейки уже нет; мне нужны деньги; не без обеда же быть.

– Я уж ей говорила, Серж, по твоей просьбе; она говорит, что все у нас будет; только деньги тебе в руки не хочет давать; она говорит, что ты ветрен еще, в один год все промотаешь.

– О, черт возьми! Опять это не ее дело! Состояние твое – и кончено... Что же, мы так целый век и будем на маменькиных помочах ходить? Ну, у нас будут дети, тебе захочется в театр, в собрание, вздумается сделать вечер: каждый раз ходить и кланяться: «Маменька, сделайте милость, одолжите полтинничек!» Фу, черт возьми! Да из-за чего же? Из-за своего состояния! Ты, Мари, еще молода; ты, может быть, этого не понимаешь, а это будет не жизнь, а какая-то адская мука.

– Что делать, Серж! Она очень рассердилась, что ты состоянием-то своим обманул, и на прошедшей неделе целый день плакала.

– Что ж такое, что я, может быть, и приба-

вил, или, лучше сказать, что, любя тебя, скрыл, что имение мое расстроено. Катерина Архиповна сама меня обманула чрез Антона Федотыча; он у меня при посторонних людях говорил, что у тебя триста душ, тридцать тысяч, а где они?

– Ай нет, Серж! У меня нет трехсот душ; всего только сто.

– Ну, а денег сколько?

– Денег, я не знаю; тебе мамаша подарила сколько-то?

– Да что она мне подарила? Полторы тысячи; это до тридцати тысяч еще очень далеко. Стало быть, мы все неправы.

– Да тебе кто это, Серж, говорил?.. Папаша?

– Антон Федотыч.

– Ну, вот видишь, он все говорит неправду. Меня сколько он раз маленькую обманывал: пойдет в город куда-нибудь: «Погоди, Мари, говорит, я принесу тебе конфет», – и воротится с пустыми руками. Я уж и знаю, но нарочно и пристану: «Дай, папаша, конфет». – «Забыл», говорит, и все каждый раз забывает, такой смешной!

– Все-таки, Мари, мне ужасно нужны день-

ги. Сделай милость, поди и попроси для себя у Катерины Архиповны хоть рублей семьсот, – проговорил Хозаров.

– А если она спросит, зачем мне деньги?

– Ах, боже мой, зачем!.. Ну, скажи, что хочешь бедным дать.

– Нет, не поверит! Семьсот рублей бедным, – этого много!

– Да, это правда – неловко. Скажи просто, что ты меня очень любишь и что завтрашний день – мое рождение.

– А разве в самом деле завтра твое рождение?

– Кажется, завтра, – ну, так как в рождение обыкновенно дарят, то и ты скажи, что хочешь подарить мне семьсот рублей; только, смотри, непременно настаивай, чтобы деньгами; вещей мне никаких не надо. Неужели она в этих пустяках откажет!

– Не знаю, Серж; семьсот рублей очень много; мамаша беспрестанно мне говорит, чтобы я берегла деньги, а тут скажет, что тебе на какие-нибудь пустяки дать столько денег.

– Ну, так ты вот как, мой ангел, объясни ей: скажи, что завтрашний день мое рождение.

ние и что ты непременно хочешь подарить мне семьсот рублей, потому что я тебе признался в одном срочном долге приятелю, и скажи, что я вот третью ночь глаз не смыкаю. А я тебе скажу прямо, что я действительно имею долг, за который меня, может быть, в тюрьму посадят.

– За что же это в тюрьму посадят?

– За то, что я несостоятельный должник.

– Ах, Серж, это страшно!

– Еще бы... Но что же делать? Я тебя так любил, что готов был занять не только семьсот рублей, но даже семь тысяч, чтобы только обладать тобой. Знаешь ли ты, друг мой, что в самую нашу помолвку я был без копейки!.. Кажется, не велика беда! Это может случиться с первым богачом в мире. Я, конечно, занял эту пустячную сумму; потом получил из деревни тысячу рублей. Вот и все деньги. Желал бы я знать, где Катерина Архиповна могла найти более расчетливого зятя, который на какие-нибудь полторы тысячи рублей сыграл бы свадьбу; так нет: подобного самоотвержения не хотят даже и видеть и понимать. Пришла в голову ложная мысль, что я мот, и

больше знать ничего не хотят. Чувства жалости даже не имеют и, может быть, за ничтожные семьсот рублей заставят идти в тюрьму.

– Нет, Серж, как это возможно! Я пойду выпрошу у мамыши.

– Сделай милость, Мари, и если ты меня любишь, то попроси Катерину Архиповну быть справедливее и великодушнее ко мне, и скажи прямо ей: «Если вы, мамыша, отдали ему меня, то неужели пожалеете каких-нибудь семисот рублей, чтобы сохранить его честь».

Проговоря это, Хозаров обнял и страстно расцеловал жену, которая тотчас же отправилась к матери. Во время прихода Мари Катерина Архиповна была занята чем-то очень серьезным. Перед ней стояла отпертая шкатулка, и она пересматривала какие-то бумаги, очень похожие на ломбардные билеты. Услышав скрип двери, она хотела было все спрятать, но не успела.

– Что это, мамыша, такое? – спросила Мари.

– Ничего, мой друг, разные документы.

– А деньги тут есть, мамыша?

– Нет, друг мой, это все бумаги.

– А в бумажнике что?

– Ничего, – тоже бумаги.

– Ах, мамаша! Зачем вы неправду говорите? Дайте мне посмотреть.

– Зачем тебе? Тут, право, ничего нет.

– Дайте мне, мамаша, денег; мне очень нужно семьсот рублей.

– Тебе семьсот рублей! Для кого же это тебе?

– Завтра Сергея Петровича рождение, и я хочу ему подарить семьсот рублей.

– Друг мой! С чего это тебе пришло в голову? Кто же дарит деньгами и особенно мужа? Если завтра действительно день его рождения, так мы поедем и купим ему какую-нибудь вещь по твоему вкусу.

– Нет, мамаша, пожалуйста, я не хочу дарить вещами, да и он не возьмет, у него очень много вещей, а вы дайте мне семьсот рублей.

– Послушай, Мари, это, верно, он научил тебя, – сказала Катерина Архиповна, поняв очень хорошо, с какой стороны ее атакуют. – Я вижу, что ты любишь его, – это прекрасно; но ты пойми, друг мой, что он ветреник и тебя в глаза обманывает. Ну, скажи мне, зачем

ему семьсот рублей? Квартира у вас есть, стол я распоряжаюсь, нарядов я тебе сделала, кроме того еще прибавлю; сам он одет очень прилично. Ну, зачем ему деньги? Больше незачем, как на мотовство. Ты рассуди только сама: состояние у тебя небольшое; может быть, будут у вас дети, а у него ведь ничего нет. Он нас во всем обманул. Ну, чем и на что вы будете жить? Служба бог знает еще когда будет, а ты, не видя, что называется, с его стороны ничего, станешь дарить ему по семисот на рождение.

– Мамаша, его посадят в тюрьму!

– Кого в тюрьму?

– Сержа.

– За что же в тюрьму?

– Он занял, мамаша, семьсот рублей... все ночи теперь не спит.

– Лжет, мой друг! Бесстыдно лжет; у него, может быть, долгу и не семьсот рублей; но и за то не посадят его в тюрьму, а деньги просто ему нужны на мотовство.

– Да, мамаша, вам хорошо говорить, а если его посадят?

– Не посадят, друг мой; клянусь моей че-

стью, не посадят.

– Нет, мамаша, вы этого сами не знаете и не понимаете. Он говорит: неужели вы пожалеете семисот, когда вы отдали ему меня?..

– Ах, друг мой, – перебила Катерина Архиповна, вздыхая, – не отдавала я тебя, не желала я этого; богу так угодно. Не то бы было, если бы ты вышла за Ивана Борисыча: тот не стал бы тянуть деньги и сам бы еще свои употребил для твоего счастья. Ну, если он в самом деле должен, так пусть скажет: кому?

– Он должен, мамаша, одному приятелю.

– Ну, что же, приятелю? Не долги он, друг мой, хочет выплачивать, а ему самому нужны деньги: в клуб да по кофейням не на что ездить, ну и давай ему денег: может быть, даже и возлюбленную заведет, а жена ему приготовляй денег. Мало того, что обманул решительно во всем, еще хочет и твое состояние проматывать.

В продолжение этого монолога у Мари на вернулись на глазах слезы.

– Друг мой Машенька, не огорчайся, не плачь, – проговорила старуха, тоже со слезами на глазах. – Я переделаю его по-своему: я

не дам ему сделать тебя несчастной и заставлю его думать о семействе. Я все это предчувствовала и согласилась только потому, что видела, как ты этого желаешь. Слушайся только, друг мой, меня и, бога ради, не верь ему ни в чем. Если только мы не будем его держать в руках и будем ему давать денег, он тебя забудет и изменит тебе.

– Он, мамаша, в самом деле какой-то странный! Или целует меня, или собирается куда-нибудь уехать.

– Этим ты, друг мой, не огорчайся; мужчины все таковы. Но главное дело: ему не надо давать денег и надо заставить служить для того, чтобы он имел какое-нибудь занятие, – и я берусь это устроить; только, пожалуйста, не слушайся его и будь благоразумнее. Ну, вот хоть бы теперь: верно ведь, он тебя научил попросить у меня денег?

– Он, мамаша!

– Вот, видишь, – я это знала наперед; ты ему скажи, или лучше ничего не говори; я с ним за тебя поговорю.

– Мамаша! Да отчего же он переменялся ко мне?

– Он не переменялся, друг мой! Мужчины все таковы. В женихах они обыкновенно умирают от любви, а как женятся, так и начнут обманывать. Это, друг мой, ничего; его надобно заставить, чтобы он любил тебя, – и я его заставлю, потому что ни копейки не стану давать ему денег. Поверь ты мне, он опомнится и начнет слушаться и любить.

– А что же, мамаша, я завтрашний день ему подарю?

– Об этом ты не беспокойся. Я сама куплю приличную для него вещь, а сегодня с ним поговорю. Где он теперь, в гостиной, что ли? Ты посиди здесь, а я с ним поговорю.

Мари осталась в кабинете, а Катерина Архиповна отправилась для объяснения с зятем.

– Ваше завтра рождение, Сергей Петрович? – сказала она, входя в гостиную.

– Да, кажется, что завтра, – отвечал Хозаров.

– Вы даете, верно, вечер или что-нибудь такое для ваших знакомых?

– Я ни о каком вечере и не думал.

– Для чего же вам так нужны семьсот рублей?

– Какие семьсот рублей?

– Да такие, которые вы присылали свою жену требовать от меня.

– Мне ваших семисот рублей никогда не было да, конечно, и не будет нужно.

– Перестаньте, Сергей Петрович, притворяться; это еще возможно было в женихах, но не для мужа; теперь уже все ясно, и я пришла вас спросить, зачем вам так нужны семьсот рублей, за которыми вы присылали жену вашу ко мне?

– Жены моей я к вам, Катерина Архиповна, не посылал, а если она сама знает, что мне нужны семьсот рублей, так это, я полагаю, весьма извинительно, – потому что между мужем и женою не должно быть тайны.

– Вы должны какому-то приятелю?

– Да-с, я должен.

– Кому же это?

Хозаров смутился и молчал.

– Если уж я вам должен отвечать на это, – сказал он после нескольких минут размышления, – то извольте: человек, который обязал меня, не желает, чтобы это знали все.

– Я, кажется, платя за вас деньги, могу же

спросить, кому я должна их отдать?

Хозаров совершенно сконфузился.

– Если вы, мамаша, не верите, то как вам угодно; я, впрочем, кажется, и не просил у вас ваших денег.

– Все равно, вы прислали жену вашу просить у меня денег.

– Если жена моя желала снабдить меня деньгами, то, конечно, не вашими, а своими, которыми она, так как вышла уже из малолетства, имеет, я думаю, право располагать, как ей угодно.

– А... так вот вы к чему все ведете, Сергей Петрович! Теперь я понимаю, – сказала Катерина Архиповна, побледнев от досады, – только этого-то с вашей стороны и недоставало. Теперь я вас узнала и поняла как нельзя лучше, – и поверьте, что себя и дочь предостерегу от ваших козней. Нет, милостивый государь, вы не думайте, что имеете дело с женщинами и потому можете, как вам угодно, обманывать. Я сама живу пятьдесят лет на свете; видала людей и, позвольте вам сказать, имею некоторые связи, которые сумеют вас ограничить.

– Я даже не понимаю, Катерина Архиповна, к чему вы все это говорите.

– Нет, вы очень хорошо понимаете, а также и я понимаю; но вы ошибаетесь, очень ошибаетесь в ваших расчетах, и теперь я от вас настоятельно требую объяснить мне, для какой собственно надобности вы подсылали ко мне вашу жену требовать денег?

– Я опять вам объявляю, что не подсылал к вам жены, но я ей только открылся.

– И вы утверждаете, что не подсылали ее ко мне?

– Я молчу-с и предоставляю вам думать, что угодно.

– Да, Сергей Петрович, конечно, уж лучше молчать, когда говорить нечего; можно обмануть молоденькую женщину, но я старуха.

Последних слов Сергей Петрович уже не слышал; он вышел из гостиной, хлопнув дверьми, прошел в свой кабинет, дверьми которого тоже хлопнул и сверх того еще их запер, и лег на диван.

Марья Антоновна, видевшая из наугольной, что Сергей Петрович прошел к себе, хотела к нему войти, но дверь была заперта; она

толкнулась раз, два, – ответа не последовало; она начала звать мужа по имени, – молчание. Несколько минут Мари простояла в раздумье, потом пошла к матери.

– Он, мамаша, заперся, – сказала она.

– Что ж мне, друг мой, делать, не ломать же дверь? Он, может быть, еще и не такие фарсы начнет выделывать; от него надобно всего ожидать.

У Мари навернулись слезы.

– Ты-то за что мучишь себя и огорчаешься, друг мой?

– Как же, татап, если его в тюрьму посадят?

– Ах, друг ты мой, как ты молода! Ну, где слыхано, чтобы за семьсот рублей в тюрьму посадили?

– Мамаша, дайте мне, пожалуйста, денег.

– Нет у меня, Маша, для этого бесстыдного человека денег.

Мари разрыдалась. Старуха не выдержала, пошла в свою комнату и через несколько минут вернулась с пачкою ассигнаций.

– На, Маша, возьми, это твои деньги. Он мне прямо давеча сказал, что я даже не имею

права располагать твоим состоянием.

Мари тотчас же перестала плакать, взяла деньги и поцеловала у матери руку, но зато расплакалась Катерина Архиповна.

– Отдавай ему, мой друг, хоть все; он еще и не то будет делать; будет, может быть, тебя учить и из дому меня выгнать.

– Нет, мамаша; он не смеет этого и думать, – возразила Мари.

– Он все смеет думать; он на все может решиться.

– Вы не сердитесь на него, мамаша... он, ей-богу, добрый.

– Видела я, друг мой, и очень хорошо поняла его доброту. У него, я думаю, теперь одна мысль в голове, чтобы как-нибудь разлучить меня с тобою и захватить твое имение.

Старуха очень расстроилась и, подобно своему зятю, ушла в свою комнату и затворилась.

Мари тотчас же подошла к дверям мужни-на кабинета и начала снова стучаться; но ответа, как и прежде, не последовало.

– Серж! Я тебе денег принесла, поди сюда, – проговорила она. – Что ты тут сидишь один в

темной комнате?

Послышался шорох, замок щелкнул, и дверь растворилась.

– А, это вы, Мари? Я не узнал вашего голоса, – сказал Хозаров, выходя из кабинета.

– На деньги, я выпросила у мамыши.

– Нет, Мари, после всех этих историй я не могу принять от тебя денег.

– На, Серж, возьми. Куда же мне их? Я не то брошу их на пол.

– Ты можешь их бросить, сжечь, вернуть опять своей маменьке, но только я их не могу принять.

Говоря это, молодые входили в гостиную. Сергей Петрович сел на диван и задумался. Мари стала перед ним и обняла его голову.

– Ну, душка, не сердись... Возьми! Мамаша так только погорячилась, она очень скупа, – и ей вот жаль денег.

– Изволь, Мари, я возьму эти деньги, потому что хотя они и лежат у Катерины Архиповны, но все-таки твои, и она их неправильно захватила по правам матери.

Сергей Петрович еще несколько времени беседовал с своею супругою и, по преимуществу

ству, старался растолковать ей, что если она его любит, то не должна слушаться матери, потому что маменьки, как они ни любят своих дочерей, только вредят в семейном отношении, – и вместе с тем решительно объявил, что он с сегодняшнего дня намерен прекратить всякие сношения с Катериной Архиповой и даже не будет с ней говорить. Мари начала было просить его не делать этого, но Хозаров остался тверд в своем решении.

Еще письмо Варвары Александровны:

«Я расскажу тебе, chere Claudine, один смешной и грустный случай: в прошлом письме моем я тебе писала о молодых Хозаровых, и писала, что выдаюсь с ними почти каждый день; но теперь мы не видимся, и знаешь ли почему? Наперед тебе предсказываю, что ты будешь смеяться до истерики: старуха-мать меня приревновала к зятю и от имени дочери своей объявила мне, что та боится моего знакомства. Она – эта молоденькая женщина – боится, что я могу нарушить ее счастье, когда я, сближаясь с ними, только и помышляла о счастье ее. Вот тебе, chere

Claudine, люди! Они, видно, всегда и везде одинаковы; а знают ли эти люди, что сердце мое давно уже похоронено в могиле, что в памяти моей живет мертвец, которому я принадлежу всеми моими помыслами; но оставим мое прошедшее. Я его таю; я никому и никогда, кроме тебя, не поднимала еще с него завесы; но пусть они взглянут на мое настоящее: у меня есть муж, которого я уважаю, если не за сердце, то по крайней мере за ум; и вот эти люди поняли меня как пустую, ветреную женщину, которая готова повеситься на шею встречному и поперечному... Я искала одной чистой и благородной дружбы, а они сочли, что мне надобна интрига; но бог с ними! Досаднее всего, что из-за меня, как сказывала их горничная моей девушке, вышла между матерью, Мари и мужем целая история: укоры, слезы, истерика и тому подобное. Что мне оставалось сделать в подобном положении? В душе моей я их не обвиняю: они только поняли меня ложно. Долго я думала, долго размышляла и, наконец, решилась прервать с ними совершенно знакомство. Молодой человек, которого я и до сих пор еще люб-

лю и уважаю, несколько раз приезжал ко мне, но я не велела его принимать; бог с ними, пусть будут они счастливы. O chere Claudine! Я теперь уже начала окончательно бояться людей.

Barbe Мамилова».

IX

Прошло еще два месяца. Сергей Петрович Хозаров, одетый в щегольскую бекешку, вошел в квартиру девицы Замшевой и прямо прошел в занимаемый хозяйкою номер, которую застал в обыкновенных ее утренних разговорах с кухаркою.

– Здравствуйте, почтеннейшая, – сказал, входя, мой герой.

– Ах, Сергей Петрович! – вскрикнула хозяйка, бросившись убирать некоторые не весьма благовидные принадлежности ее туалета. – Ступай и делай так, как я тебе говорила, – прибавила она кухарке.

Стряпуха вышла.

Хозаров, не снимая бекешки, сел.

– Я вами очень недоволен, почтеннейшая; зачем вы каждый день ходите к теще и просите, чтобы она заплатила вам мой долг.

– Сергей Петрович! Нужда, видит бог, нужда! Что мне прикажете делать? Никто не платит; вы не поверите: как уехал Ферапонт Григорьич, ни с кого не получила ни копейки.

– Это вы все не то говорите, Татьяна Ива-

новна. Кто вам должен? Я. Следовательно, вы и должны адресоваться ко мне.

– Да, батюшка Сергей Петрович, я знаю, что у вас денег нет. Катерина Архиповна, как жила с вами, прямо мне сказала: «Что ты, говорит, к нему ходишь, у него полушки за душой нет».

– Вы все говорите чушь, – возразил Хозаров. – Разве теща моя может знать, есть у меня деньги или нет?

– Сергей Петрович, не обижайтесь на меня, а выслушайте. Я прежде к вам ходила; у самих вас всегда просила; припомните, что вы мне говорили: «Подождите, говорили, у меня теперь нет, а я у маменьки выпрошу». Ну, поэтому я к ним и адресовалась. Заплатите, отец мой, право нужда; ведь не шуточка восемьсот рублей.

– Конечно, по вашим понятиям, восемьсот рублей ужасная сумма, но что это такое значит для мужчины? Плевок, нуль... и потому честью заверяю вас, что заплачу вам, и заплачу даже с процентами; только, бога ради, не извольте являться ни к жене моей, ни к теще за моим долгом.

– Да где же вы, Сергей Петрович, возьмете? Теперь открытое дело, что у вас ничего нет.

– Скажите, как вы прекрасно считаете в чужом кармане... Полноте, почтеннейшая, вздор молоть, не извольте и беспокоиться об этих пустяках.

– Милый мой постоялец, как же мне не беспокоиться? У вас ведь, право, ничего нет. Ну, хоть бы службу какую имели или по крайней мере у меня квартировали, все бы надежда была впереди.

– У вас, Татьяна Ивановна, может быть, нет надежды, а у меня их на миллион.

– Нет, Сергей Петрович, не верю, нынче совсем миллионов на свете нет.

– Есть, Татьяна Ивановна, и даже больше чем миллионы. Припомните только мои обстоятельства перед свадьбой. А?.. В каком я тогда был положении? Уж, кажется, решительно без копейки, а что же вышло потом? В один день хватил три тысячи.

– Это случайность, Сергей Петрович.

– Нет, почтеннейшая, вовсе не случайность. Умная вы женщина, а не совсем жизнь-то понимаете. Вспомните, где я взял

денег тогда?

– Да что припомнить? Как теперь помню, что взяли у Варвары Александровны; закладчик-то, у которого ее вещи, каждый день ходит ко мне.

– Я не про то говорю, почтеннейшая, ходит или нет к вам этот болван закладчик; но вы решите мне один вопрос: неужели же я с этой же стороны не могу достать и теперь денег?

– Не можете, Сергей Петрович, никаким образом не можете; тогда было другое дело, тогда вы были человек холостой.

– А если я вам представлю доказательство? Не угодно ли взглянуть! – проговорил Хозаров и подал Татьяне Ивановне маленькую записку, которую девица Замшева хотя с трудом, но все-таки прочла.

– Ну, уж этого дела я не знаю, это ваше дело, – сказала она.

– Нет, вы скажите: понимаете ли тут главный смысл?

– Как не понять, известное дело: тайное свидание будете иметь. Только какой вы обманчивый человек, Сергей Петрович! Когда женились, так думали: вот станете боготво-

рить жену; вот тебе и боготворить! Году не прошло еще, а рога приставил; недаром я вас звала ветреником; сердце мое говорило, что вы опасный для женщин человек.

– Согласен, почтеннейшая, что опасный человек, но все-таки скажите, понимаете ли вы результат моих отношений к Барб Мамиловой?

– Нет, Сергей Петрович, наше дело темное, и понимать ничего не хочу.

– Ну, так я вам растолкую. Она любит меня; вы это видите.

– И напрасно любит, – перебила Татьяна Ивановна.

– Ну, уж это ее дело; а вы слушайте, – возразил Хозаров. – Она любит и богата; следовательно, любя меня, будет давать и денег.

– Сомневаюсь, Сергей Петрович, очень сомневаюсь, – сказала Татьяна Ивановна. – Если бы вы были холостой человек, другое дело; а теперь уж женатый. Женщины к женатым очень недоверчивы: это я знаю по себе.

– Нет, почтеннейшая, умный человек и женатый умеет поддержать себя. Умный человек не отступится от своих прав. Он скажет:

«Если любишь, так и дай денег, а не то мужу скажу», так не беспокойтесь, расплатится; и расплатится богатым манером.

– Ой, Сергей Петрович, страшное, да и не дворянское вы затеваете дело!

– Я этого не затеваю; но говорю только один пример, чтобы успокоить вас. Скажите мне только, успокоились ли вы?

– Нет, Сергей Петрович, все еще сомневаюсь. Хоть бы срок назначили, отец мой! Право большая нужда.

– Извольте! В записке, кажется, назначено свидание семнадцатого февраля; в тот же самый день, но только вечером, вы можете пожаловать ко мне, и я с вами разочтусь самым благороднейшим образом. Adieu, почтеннейшая! Но только уговор лучше денег, чтобы к теще и к жене за деньгами ни шагу.

– Не пойду, Сергей Петрович, ей-богу, не пойду. Хоть и трудно немного, но что же делать, перебьюсь!

Хозаров ушел.

В прескверное зимнее утро, семнадцатого февраля, на Тверском бульваре сошлись мужчина в бекешке и дама в салопе и шляпке; это

были Сергей Петрович Хозаров и Варвара Александровна Мамилова. Оба они, пройдя несколько шагов, остановились.

– Сама природа против меня, – сказал Хозаров, протирая глаза, залепленные снегом. – Мне очень совестно, что я в такую погоду обеспокоил вас.

– Ничего, – отвечала Мамилова, – делая доброе дело, не надобно раскаиваться. Взойдемте в кондитерскую, – прибавила она и вместе с своим спутником вошла в известную, конечно, каждому читателю беседку на средние бульвара. Уселись они в отдаленной комнате. Мамилова тотчас же спросила себе огня, закурила папиросу и предложила такую же своему спутнику. В последнее время Варвара Александровна сделала еще шаг в прогрессе эмансипации: она стала курить. На первых порах этот подвиг был весьма труден для молодой дамы; у ней обыкновенно с половины выкуренной папиросы начинала кружиться голова до обморока: но чего не сделает женщина, стремящаяся стать в уровень с веком! Мамилова приучила свои нервы и в настоящее время могла уже выкуривать по

три папиросы вдруг.

– Итак, Сергей Петрович, – начала она, закурив папиросу, – вы писали мне, что у вас на сердце много горя и что это горе вы хотели бы разделить со мною. Я благодарю вас за вашу доверенность и приготовилась слушать. Мое правило – пусть с горем идут ко мне все люди; я готова с ними плакать, готова их утешать; но в радости человека мне не надо, да и я ему не буду нужна, потому что не найду ничего с ним говорить.

– Неужели же вы не пожелаете разделить даже счастье друзей ваших?

– Да, счастье друзей, это другое дело; но и то – нет; разве я не радовалась вашей радости, не хотела жить вашим счастьем? Но как это поняли? Ваша теща мне в глаза сказала, что посещения мои неприятны ее дочери и неприличны для меня. Я оставила ваш дом, я не хотела влить капли горя и неприятности в чашу ваших радостей и с этой минуты поклялась бегать счастливых людей. Я, конечно бы, даже никогда не увиделась с вами, но вы писали мне, что вы несчастливы, – и этого довольно, чтобы я пренебрегла всем и реши-

лась с вами видется, – и даже несколько романтически: на бульваре и в беседке. Ну-с! Рассказывайте мне ваше горе, я слушаю.

– Горе мое, – начал Хозаров несколько театральным голосом и бросив на пол недокуренную папироску, – горе мое, – продолжал он, – выше, кажется, человеческих слов. Во-первых, теща моя демон скупости и жадности; ее можно сравнить с аспидом, который стережет сундук, наполненный деньгами, и уязвляет всех, кто только осмелится приблизиться к его сокровищу.

– Во-первых, Сергей Петрович, – возразила Мамилова, – это еще не большое горе, потому что теща для зятя, как я полагаю, лицо совершенно постороннее, тем более что она с вами уж не живет.

– Это ваша правда, она с нами не живет, – отвечал Хозаров. – Я настоял, наконец, чтобы она изволила существовать отдельно от нас и даже не бывала в моем доме, но какая от этого польза? Я не вижу только ее прекрасной особы; но ее идеи, ее мысли живут в моем доме, потому что они вбиты в голову дочери, которая, к несчастью, сама собою не может со-

образить, что дважды два – четыре.

– Бог с вами, Сергей Петрович! Что вы такое говорите? – возразила Варвара Александровна. – Неужели Мари так...

– Так проста, хотите вы сказать? Даже более чем проста. Она – глупа, Варвара Александровна, – глупа, как вот это дерево! – проговорил грустным голосом Хозаров и постучал по столу рукой.

Мамилова некоторое время ничего не отвечала.

– Из чего вы заключили, – начала она несколько даже строгим голосом, – что жена ваша глупа? Что вас так разочаровало в женщине, которую вы некогда боготворили, которую вы сами избрали в подруги ваших дней и, можно сказать, насильно вырвали ее из семейства, где она была счастлива и беспечна?

– Я этого вопроса с вашей стороны ожидал, Варвара Александровна; имея такой возвышенный взгляд на брак, вы не могли меня не спросить об этом; но когда я вам объясню подробно, то вы согласитесь со мною и оправдаете меня. Знаете ли, в чем мы проводим все время? Мы или в дурацкие ладошки играем,

или бегаем по комнате, или, наконец, с котятами возимся, – и больше ничего! Ни одной, знаете, серьезной беседы, никаким искусством не занимается, – даже на фортепиано не умеет сыграть польки. Если бы вы знали, как читает она романы: вместо того, чтобы в романе следить за происшествиями, возьмет да конец и посмотрит. «Я уж все знаю», говорит, да и бросит книгу; но я не говорю про русские романы: они не могут образовать человека; но она так же читает Дюма[21] и Сю [22] и других великих писателей. Вместо того чтобы образовать себя чтением, даже заучивать некоторые хорошие фразы, – ничего не бывало! Посмотрит конец, и кончено дело.

– Из всего, что вы мне, Сергей Петрович, говорили, – начала Варвара Александровна, закурив другую папиросу, – я еще не могу вас оправдать; напротив, я вас обвиняю. Ваша Мари молода, неразвита, – это правда; но образуйте сами ее, сами разверните ее способности. Ах, Сергей Петрович! Женщин, которые бы мыслили и глубоко чувствовали, очень немного на свете, и они, я вам скажу, самые несчастные существа, потому что му-

жья не понимают их, и потому все, что вы ни говорили мне, одни только слова, слова, слова...

– Прекрасно-с, – перебил Хозаров. – Я отказываюсь от этих слов; но я имею другие несчастья. Вы говорите: образовать? Как я могу ее образовать, когда она смотрит на все глазами матери, понимает все провинциальным умом этой старухи. Скажу вам один пример: у Мари состояние, конечно, небольшое – всего сто душ и тысяч десять денег; но велико ли, мало ли это состояние, все-таки оно ее, предоставленное ей по всем законным правам, и потому должно находиться в общем нашем распоряжении, так как муж и жена – это два нераздельные существа. Весьма естественно, что я, желая жить самостоятельным семьянином, требовал, чтобы Мари взяла от матери принадлежащее ей имение, потому что желал бы и в усадьбе сделать некоторые улучшения и прикупить бы к ней что-нибудь, соображаясь с местностью; не тут-то было: с первых моих слов начались слезы, истерика, после которых мы не смеем и заикнуться об этом сказать маменьке, которой, конечно,

весьма приятно иметь в своих руках подобный лакомый кусок.

– Знаете ли, Сергей Петрович, что бы я сделала на месте вашей жены? – перебила Варвара Александровна. – Я бы взяла, даже потребовала бы свое состояние от матери и отдала бы его вам; но уважать бы вас не стала; и даже, может быть, разлюбила бы...

– Вы не так поняли мои слова, Варвара Александровна, – возразил Хозаров, – вы, может быть, тут видите...

– Я тут вижу расчет, корыстолюбие, я тут вижу то, чего никогда не предполагала видеть в вас, и, простите меня, я начинаю в вас разочаровываться.

– Послушайте, Варвара Александровна! Глядя на этот предмет поверхностно, вы, конечно, вправе вывести такого рода невыгодное для меня заключение, но нужно знать секретные причины, которых, может быть, человек, скованный светскими приличиями, и не говорит и скрывает их в глубине сердца. Вы, Варвара Александровна, богаты, вы, может быть, с первого дня вашего существования были окружены довольством, комфортом

и потому не можете судить о моем положении.

– Разве вы бедны?

– А если бы и так.

– Нет, вы скажите мне прямо, бедны вы или нет?

– Я не беден, я имел большие средства, но...

– Но вы промотались, не так ли?

– Да, может быть, это и так, но я хотел, Варвара Александровна, в семейной жизни успокоить себя, хотел сделаться порядочным человеком, потому что все это мне наскучило! Я женился на существе, которое любил, но в то же время имел в виду существенное; но как же меня поняли, как меня третировали? – Окрестили мотом и с первого же раза начали опасаться. Я очень любил Мари и, конечно, обожал бы ее всю жизнь, если бы она поняла меня; но что же прикажете делать, она лучше понимает свою мать и также видит во мне мота. Вот корень всех неприятностей между нами, которые зашли уже очень далеко! Вы только вспомните, как эти люди поняли вас и вместе с тем осмелились требовать от меня, чтобы я манкировал вашей дружбой, кото-

рая для меня, может быть, дороже всего на свете; конечно, я их не послушал, однако все-таки в умах их было это нелепое намерение. Я все это перенес, но вы спросите меня, какво мне все это было. Вы, конечно, имеете право думать, что я с умыслом избегал встречи с вами, потому что занял у вас три тысячи рублей и до сих пор не в состоянии еще с вами расплатиться.

– Грустно мне от вас, Сергей Петрович, это слышать, очень грустно! – сказала Мамилова.

– Нет, позвольте, это еще не все, – возразил Хозаров. – Теперь жена моя целые дни проводит у матери своей под тем предлогом, что та больна; но знаете ли, что она делает в эти ужасные для семейства минуты? Она целые дни любезничает с одним из этих трех господ офицеров, которые всегда к вам ездят неразлучно втроем, как три грации. Сами согласитесь, что это глупо и неприлично.

– Послушайте, – сказала Варвара Александровна, – если вы в самом деле так несчастливы, то я вас не оставлю: я буду помогать вам словом, делом, средствами моими; но только, бога ради, старайтесь все это ис-

правлять, – и вот на первый раз вам мой совет: старайтесь, и старайтесь всеми силами, доказать Мари, как много вы ее любите и как много в вас страсти. Поверьте, ничто так не заставит женщину любить, как сама же любовь, потому что мы великодушны и признательны!

– Женщине трудно доказать любовь, – возразил Хозаров, – она часто самой сильной страсти не понимает.

– Никогда!.. Готова спорить с целым миром, что женщина видит и чувствует истинную любовь мужчины в самом еще ее зародыше. Но чтобы она не поняла сильной страсти, – никогда!

– Я испытываю это, Варвара Александровна, на себе.

– Что ж вы думаете, что ваша Мари не сознает и не понимает вашей любви, если вы только истинно ее любите?

– Я говорю не про жену, – вы не хотите меня понять.

– Не про жену?.. Вы говорите это не про Мари?.. В таком случае я действительно вас не понимаю.

– В том-то и дело, Варвара Александровна, что женщины не понимают сильной страсти.

Варвара Александровна несколько минут смотрела на Хозарова с удивлением.

– Я вас сегодня совсем не понимаю, – проговорила она.

Хозаров пожал плечами.

– Вы или больны, или очень расстроены, и потому прощайте! – продолжала она, вставая.

– Одно слово! – произнес Хозаров. – Позвольте мне сегодня вечером быть у вас.

– Зачем? – спросила Мамилова, устремив на собеседника вопрошающий взор.

– Именем нашей дружбы заклинаю вас, позвольте мне.

– Хорошо; но только с условием: прийти в себя и не говорить того, что вам стыдно, а для меня обидно слушать.

Проговорив это, она подала Хозарову руку, которую тот с жаром поцеловал, но которую Варвара Александровна вырвала стремительно и проворно вышла из кондитерской.

Оставшись один, Хозаров целый почти час ходил, задумавшись, по комнате; потом прилег на диван, снова встал, выкурил трубку и

выпил водки. Видно, ему было очень скучно: он взял было журнал, но недолго начитал. «Как глупо нынче пишут, каких-то уродов выводят на сцену!» – произнес он как бы сам с собою, оттолкнул книгу и потом решился заговорить с половым; но сей последний, видно, был человек неразговорчивый; вместо ответа он что-то пробормотал себе под нос и ушел. Хозаров решительно не знал, как убить время.

– Эй, ты, болван! Дай мне лист почтовой бумаги, перо и чернильницу! – вскричал он молчаливому половому.

Тот подал, и герой мой принялся писать письмо к тому приятелю, к которому он писал в первой главе моего романа.

«Незаменимый для меня друг мой Миша!

Оба тянем мы, дружище, с тобою одну ляжку; то есть оба женаты, и потому оба очень хорошо понимаем, что вся эта аркадская любовь не что иное, как мыльные пузыри, когда нет существенного, то есть денег! Другой бы на моем месте упал духом; но ты знаешь меня: я не люблю хандрить и ходить повеся нос,

но умею всегда приискать какое-нибудь развлечение, которым нынче и служит для меня милашка – Мамилова. Она была в меня еще в холостого влюблена до такого сумасшествия, что ни с того ни с сего подарила мне три тысячи рублей; но тогда я был занят моей глупой женитьбой, и потому между нами прошло так, серьезного почти ничего не было, а только, знаешь, сентиментальничали в разговорах; но теперь другое дело: я постарел, помнел; а главное – мне нужно развлечение и деньги. Сегодня было у нас первое тайное свидание, после которого я тебе и пишу. Дело идет на лад; я сделал намек, после которого, конечно, сконфузились, даже рассердились немного и тому подобное. Однако я должен тебе сказать, *mon cher*, что женщины какое-то неуловимое существо. Это я ясно вижу на *Barbe* Мамиловой. Вообрази себе: любит меня и любит до безумия; но скрывает и говорит черт знает какие отвлеченности, над которыми, конечно, я скоро восторжествую; но, при всем том, досадно и скучно. Сегодня вечером я опять пойду к ней и сделаю решительный приступ, о последствиях которого тебя

извещу весьма подробно.

Хозаров».

Для сочинения и написания этого письма героем моим было употреблено полтора часа; потом он спросил себе легонький обед, бутылку портера и бутылку мадеры и все сие употребил в достаточном количестве. Нетерпеливость возросла в нем донельзя, и потому он, не ожидая законного вечернего часа, то есть семи часов, отправился в четыре. Вероятно, герой мой был в сильно возбужденном состоянии: приехав к Варваре Александровне, он даже не велел доложить о себе человеку и прошел прямо в кабинет хозяйки, которая встретила на этот раз гостя не с обычным радушием, но, при появлении его, сконфузилась и, чтобы скрыть внутреннее состояние духа, тотчас же закурила папиросу.

– Первое мое слово будет просить у вас извинение, что я приехал не в урочный час. Что ж мне делать? Я не могу уже более владеть собою.

– Я вас рада видеть всегда, Сергей Петрович, – отвечала хозяйка.

– Послушайте, Варвара Александровна, вы немилосердны ко мне; но как бы ни было, как бы меня не поняли, я решился открыть вам тайну, которую я до сих пор скрывал даже от самого себя.

Мамилова взглянула на гостя с удивлением.

– Вы все-таки еще не пришли сами в себя, – сказала она, не спуская с него глаз, – и все-таки продолжаете говорить смешные нелепости.

Хозаров был на этот раз очень дерзок и продолжал:

– Всякие чувства можно скрывать некоторое время, но потом они должны обнаружиться. Я не люблю моей жены, вы это слышали, и не люблю ее более потому, что боготворю и увлечен другою; одним словом: я люблю вас, и в ваших руках моя жизнь и смерть.

Последние слова герой мой произнес, уже стоя перед Варварой Александровной на коленях. Мамилова несколько минут ничего не отвечала и не отнимала своей руки, которую Хозаров взял и целовал.

– Больно, досадно и грустно мне все это слышать и видеть, Сергей Петрович! – сказала она. – Не стойте передо мною на коленях. Ей-богу, это очень водевильно и смешно. Я вас спрошу только одно: зачем вы все это говорите и делаете?

– Затем, что я боготворю вас, – возразил Хозаров, начиная приподниматься с коленопреклонного положения.

– А я вас не люблю, Сергей Петрович! Прежде я чувствовала к вам дружбу, искреннюю дружбу, но теперь я вас презираю и презираю потому, что вы похожи на других.

Хозаров встал и, ни слова не говоря, начал ходить по комнате.

– Из всего этого я вижу, – сказал он, – что вы не понимаете и не хотите понять того, что совершается в душе моей.

– Я боялась это и думать, Сергей Петрович, и я боялась потому, что все-таки вас уважала. Но если в самом деле в вас закралась эта несчастная страсть, то зачем вы мне говорите об этом, какую вы думаете иметь для этого цель? Вы думали успеть, вы думали сделать меня вашей любовницей, не так ли? О, боже

мой, как мне горько слышать такое обидное для меня ваше мнение! Но, несмотря на это, я решаюсь объяснить вам, что вы ошиблись и жестоко ошиблись во мне. Я люблю не вас, а другого, которого вы не знаете и не можете знать, потому что он давно умер. Кроме того, я вам скажу словами Татьяны: «Я другому отдана и буду век ему верна»; и к вам, Сергей Петрович, могу питать одно только сожаление.

На эти слова герой мой ничего не отвечал, но снова встал перед хозяйкой на колени, первоначально расцеловал ее руку и потом вдруг совершенно неожиданно обхватил ее за талию и обхватил весьма дерзко и совершенно неприлично, Варвара Александровна вся вспыхнула и хотела было вырваться; но Хозаров держал крепко, гнев овладел молодою женщиною: с несвойственной ей силою, она вырвала свою руку и ударила дерзкого безумца по щеке. Хозаров вскочил; Мамилова тоже и выбежала из комнаты. Несколько минут Сергей Петрович простоял, как полоумный, потом, взяв шляпу, вышел из кабинета, прошел залу, лакейскую и очутился на крыльце,

а вслед за тем, сев на извозчика, велел себя везти домой, куда он возвратился, как и надо было ожидать, сильно взбешенный: разругал отпиравшую ему двери горничную, опрокинул стоявший немного не на месте стул и, войдя в свой кабинет, первоначально лег вниз лицом на диван, а потом встал и принялся писать записку к Варваре Александровне, которая начиналась следующим образом: «Я не позволю вам смеяться над собою, у меня есть документ – ваша записка, которою вы назначаете мне на бульваре свидание и которую я сейчас же отправлю к вашему мужу, если вы...» Здесь он остановился, потому что в комнате появилась, другой его друг, Татьяна Ивановна.

– Вот я и пришла, Сергей Петрович, – сказала девица Замшева.

Герой мой, и без того уже расстроенный, при виде друга-кредиторши затрясся от досады.

– А вам что еще надобно от меня? – вскрикнул он не совсем ласковым голосом, так что Татьяна Ивановна попятилась несколько назад.

– Да все о деньгах-то. Вы сами говорили мне побывать семнадцатого числа.

– Какие у меня деньги для вас? Что такое за деньги?

– Как какие деньги? Мои деньги, – которые вы зажили у меня.

– Что у вас зажито, давно отдано, – и потому извольте, почтеннейшая, убираться; я занят, мне некогда.

– Как отданы? Когда вы это отдали? Что вы это такое говорите? Не стыдно ли вам выдумывать этакие нелепости? Я думаю, вся Москва знает, как я вас содержала. Что вы это говорите?

– Я говорю, что извольте убираться, почтеннейшая, вон! Вот что я говорю.

– Нет, извините, я не пойду; я пришла за своим, а не за вашим; у меня есть расписка.

– Убирайтесь к черту с вашей распиской! Этаких животных я по шее имею привычку гонять и с вами так же распоряджусь.

– Видали ли? Со мной так распорядиться? – сказала Татьяна Ивановна, тоже вышедшая из себя, показывая Хозарову два кукиша. – Подайте деньги мои, а не то в тюрьму посажу.

Провалиться мне сквозь землю, если я тебе не расскажу все ваши подлые намерения! Да и Варваре Александровне объясню, бесстыдник этакой, пусть знают, какие вы для всех козни-то готовите.

– Я говорю тебе: убирайся вон, пряничная форма! – закричал Сергей Петрович, вскакивая с своего места.

Почтеннейшая Татьяна Ивановна, видно, очень не любила, чтобы называли ее пряничной формой. Лицо ее побледнело, руки, ноги задрожали, и губы посинели.

– Врешь, обольститель, я не пойду! Не смеешь тронуть, извини: сама плевать умею! – закричала она звонким и резким голосом; но Хозаров, схватив ее за плечи, начал толкать из комнаты.

Девушка Замшева, с своей стороны, защищалась храбро; на получаемые толчки она отвечала, насколько достало у ней сил, тоже толчками. Но так как мужчины, действуя физической силой, всегда берут верх над слабыми женщинами, то и почтеннейшая хозяйка, несмотря на сильный отпор, была вытолкана неблагодарным постояльцем на крыльцо до

самых дверей, которые перед самым ее носом были быстро захлопнуты. Сверх того она еще получила такой толчок, что не в состоянии была устоять на ногах и кувырком скатилась с лестницы.

При этом падении благородная девица, вероятно, сильно зашибла ногу, потому что, когда она встала и, залившись горькими слезами, отправилась домой, то весьма заметно прихрамывала на правую ногу.

Х

В настоящей главе я должен вернуться несколько назад. После того случая, как Мари просила у Катерины Архиповны для мужа денег, между зятем и тещею окончательно нарушилось всякое родственное расположение. Хозаров донельзя взбесился на свою belle-mère и поклялся, во что бы то ни стало, выжить ее из дому, зная наперед, что ничем так не может досадить страстной матери. Для этой цели он первоначально перестал с Катериной Архиповной кланяться, говорить и даже глядеть на нее; но это не помогало: старуха жила по-прежнему и сама, с своей стороны, не обращала на зятя никакого внимания. Хозаров решился делать и говорить все назло ей: проговаривала ли она, что в комнате холодно, он нарочно отпирал форточку; если же она говорила, что слишком тепло, – в ту же минуту отворялись все душники; но Катерина Архиповна оставалась хладнокровна, и все эти проделки Сергея Петровича, направленные на личную особу тещи, не принесли желаемого успеха. Герой май решился мучить

старуху тем, что стал при ней, на правах мужа, бранить Мари, которая была так еще молода, что даже не умела, с своей стороны, хорошенько отбраниваться и только начинала обыкновенно плакать. Этого Катерина Архиповна уже не в состоянии была переносить равнодушно; она обыкновенно заступалась за дочь и пропекала зятя, как говорится, на обе корки, но в этом случае Хозаров уже не обращал внимания и только смеялся, отчего еще более плакала Мари и выходила из себя Катерина Архиповна.

Все такого рода сцены для Мари оканчивались слезами, но для Катерины Архиповны это была пытка. Она доходила до полного ожесточения; она готова была разорвать зятя на куски и принуждена была ограничиваться только бранью, над которой он смеялся.

Далее затем, в одно прекрасное утро, герой мой затеял еще новую штуку: он объявил жене, что нанял для себя особую квартиру, на которой намерен жить, и будет приходить к Мари только тогда, когда Катерина Архиповна спит или дома ее нет, на том основании, что будто бы он не может уже более равно-

душно видеть тещу и что у него от одного ее вида разливается желчь.

Маша, как водится, расплакалась, а потом пересказала все матери. Старуха сначала смеялась над новой проделкой зятя, но дочь плакала, и материнское сердце снова не вытерпело: она решилась объясниться с Сергеем Петровичем, но сей последний на все ее вопросы не удостоил даже и ответить и продолжал собирать свои вещи. Катерина Архиповна, разумеется, не могла не осердиться на подобного рода глупость и, наговорив зятю дерзостей, ушла к себе в комнату, а через полчаса, призвав к себе дочь, объявила ей, что она сама хочет переехать на другую квартиру, потому что не хочет их стеснять. Мари первоначально испугалась этого решения матери и начала ее упрашивать не переезжать от них; но Катерина Архиповна растолковала дочери, что если ее мерзавец-муженек в самом деле переедет на другую квартиру, то это будет весьма неприлично и уже ни на что не будет походить. Маша успокоилась. Сергей Петрович, очень довольный успехом своей проделки, тоже успокоился и снова разложил свои

вещи.

На другой день старуха переехала, но, видно, эта разлука с идолом была слишком тяжела для Катерины Архиповны, и, видно, страстная мать справедливо говорила, что с ней бог знает что будет, если ошибется в выборе зятя, потому что, тотчас же по переезде на новую квартиру, она заболела, и заболела бог знает какую-то сложную болезнью: сначала у нее разлилась желчь, потом вся она распухла, и, наконец, у нее отнялись совершенно ноги. Мари целые дни начала проводить у матери, которая, с своей стороны, стараясь предостеречь дочь от влияния мужа, беспрестанно толковала ей, какой тот мот, какой он пустой и бесчувственный человек и как он мало любит ее. Маша с каждым днем начала более и более соглашаться с матерью, – тем более, что Сергей Петрович действительно день ото дня становился к ней холоднее: кроме того, что часто уходил на целые дни из дому, но даже когда бывал дома, то или молчал, или спал, и никогда уже с ней не играл – ни в ладошки, ни в рыжего кота, и вместе с тем беспрестанно настаивал, чтобы она требовала от матери

имения.

Последнее время Мари уже целые дни проводила у матери; ей было даже очень нескучно, потому что к старухе начал ходить один из числа трех офицеров – подпоручик Пириневский. Он был очень милый и веселый молодой человек и владел двумя прекрасными способностями, а именно: прекрасно рассказывал страшные сказки о различных царевичах и разбойниках и бесподобно пел тенором под гитару многие новые романсы. Мари он очень занимал. День ото дня молодые люди, сами не замечая того, начали сблизиться: подпоручик начал уже называть Мари *cousine*, а она его *cousin*. Кроме того, между ними проявилось еще новое занятие: они начали для практики танцевать вновь появившийся тогда танец редову. Катерина Архиповна, смотревшая сначала сквозь пальцы на сближение молодых людей, начала супиться и сделалась к офицеру очень суха; но Мари не обращала внимания и продолжала звать офицера ходить к ним каждый день. Однажды, это было именно на другой день после свидания Хозарова с Мамиловой, Мари оставила

своего нового cousin обедать у мамыши.

Пириневский в этот раз ее очень занимал, и когда она его начала просить рассказать ей какую-нибудь еще страшную сказку, то он объявил, что простые сказки он все пересказал, но что сегодня прочтет ей наизусть прекрасную сказку Лермонтова про Демона.

После обеда молодые люди, один для чтения, а другая для слушания, уселись рядом на диване. Пириневский начал читать и действительно всю поэму знал весьма твердо на память и, кроме того, произносил ее с большим чувством. На том месте, где Демон говорит:

*Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чью мысль ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне, –*

на этом месте Мари его остановила.

– Перестаньте; страшно, – сказала она.

– Ничего-с, – отвечал офицер, – дальше будет еще страшней.

– Ну так не читайте, – страшно, а лучше расскажите мне, что же будет дальше, – она его полюбит?

– Непременно-с полюбит.

– Да ведь как же? Он, я думаю, страшный!

– Отчего же страшный! Может быть, и не страшный, – отвечал Пириневский.

– Ай, нет, он должен быть гадкий. Я бы его ни за что не полюбила.

– А кого же вы бы полюбили? – спросил молодой офицер.

– Конечно, можно полюбить только хорошенького... Спойте что-нибудь!

– Я гитары не взял.

– Ничего, спойте без гитары.

– Но я могу маменьку обеспокоить, они, кажется, почивают.

– Ничего; она не услышит – спойте.

Офицер повиновался и довольно звучным, чистым тенором запел: «Ты, душа ль моя, красна девица». Взоры молодого человека ясно говорили, что он под именем красной девицы понимает Мари, которая, кажется, с своей стороны, все это очень хорошо поняла и потупилась. Затем молодые люди расселись по дальним углам и несколько времени ни слова не говорили между собою.

– О чем вы задумались? – спросила, нако-

нец, Мари.

Офицер не отвечал.

– Вам, может, скучно, – заговорила снова она после нескольких минут молчания.

– Я думаю, Марья Антоновна, о том, что нам скоро должно выступить из Москвы.

– Куда вам выступить?

– В Калугу... – отвечал офицер.

– Да вы не ездите.

– Нельзя-с, служба.

– Вот какие вы! Зачем же вы уедете?

– Вам разве жаль нас, Марья Антоновна?

– Еще бы, – отвечала молодая женщина, вспыхнув, и офицер тоже вспыхнул, и затем воцарилось молчание. Пириневский принялся рассматривать лежавшую на окошке «Библиотеку для чтения»[23], а Мари сидела, задумавшись.

– Что вы смотрите, – сказала она, подойдя к офицеру, – найдите мне, какое вам слово больше нравится?

Подпоручик начал перелистывать журнал и, наконец, в отделе Словесности, видно, отыскал желаемое слово и показал его Мари, которая, посмотрев, очень сконфузилась, но,

впрочем, взяла у офицера книгу и сама показала ему на какое-то слово и, отойдя от него, снова села на прежнее место. Показанные молодыми людьми друг другу слова были весьма значительные. Офицер показал на слова: «Я вас люблю», а Мари на слово: «Любите». За сим последовала какая-то странная и необъяснимая сцена. Пириневский встал, прошелся по комнате и потом, неизвестно почему, очутился рядом с Мари на диване, протянул как-то странно руку, в которой очень скоро очутилась рука Мари.

Но здесь я останавлиюсь и попрошу читателя перейти со мной в квартиру Варвары Александровны. После неприятного объяснения, которое имела она с Хозаровым, ей не спалось всю ночь; и даже на другой день – печальная и грустная – сидела она в своем кабинете. Человек доложил, что пришла какая-то Замшева и желает ее видеть.

– Проси! – сказала Мамилова.

Явилась Татьяна Ивановна, тоже грустная, взволнованная и несколько прихрамывающая на правую ногу. Целую ночь девица Замшева придумывала, чем бы отомстить Хоза-

рову, и, наконец, решила подать его расписку ко взысканию и наказать на него Мамиловой, от которой, она думала, он получает деньги.

– Я, кажется, имею честь говорить с Варварой Александровной, – сказала, входя и приседая, Татьяна Ивановна.

– К вашим услугам, – отвечала Мамилова, закуривая папироску.

– Честь имею рекомендоваться: я девица Замшева, у которой Сергей Петрович, бывший холостым, квартировал.

– А!.. Что же вам угодно? – произнесла Мамилова, взглянув на Татьяну Ивановну довольно подозрительно.

– Он поручал мне, Варвара Александровна, заложить ваши вещи, но теперь уже давно срок истек, ни капитала, ни процентов они не платят, так я пришла вас предупредить.

– Благодарю вас, моя милая! В какой сумме мои вещи заложены?

– Две тысячи семьсот пятьдесят рублей с процентами; взято было только на один месяц; а теперь вот сколько времени прошло без всякой уплаты!

– Благодарю вас... Я знаю: мы поправим как-нибудь это дело.

– Сергей Петрович, вероятно, на вас и надеялись. Сами они, это уж известно, ничего не имеют, но говорят, что они от вас тысяч десять в год могут получить.

– От меня получить десять тысяч... Это почему?

– Да ведь как? Кто их разберет: они говорят, что могут; еще говорят, если захочу, так и не это получу; как липку, говорят, обдеру, так и тут ни слова не скажет, потому что влюблена.

Мамилова побледнела.

– Он говорил вам, что я в него влюблена? Он осмелился это сказать вам?

– Не мне одной, Варвара Александровна, он, я думаю, это целой Москве разблаговестил.

– Довольно... Бога ради, довольно! Или нет, скажите!.. Я должна выпить горькую чашу до дна... Сядьте и расскажите, что он вам еще говорил про меня?

– Варвара Александровна! Я очень хорошо понимаю ваше положение и потому пришла

к вам, – сказала Татьяна Ивановна. – Он говорит ужасные вещи. Он говорит, что вы в него влюблены, или, прямее сказать: у вас с ним интрига, и потому он надеется с вас получить деньги. Я сама, Варвара Александровна, им обманута, потому-то мне и горько. Сначала ведь, как бес какой-нибудь обольстил: ну, пришел нарядный, ласковый, вежливый, просто прелесть: ну, думала, человек с совестью, отчего же не оказать доверия. А вот что вышло после: во сне не снилось такой обиды; на целый век хотел уродом сделать; как будто какую-нибудь развратную изувечил. И с вами таким же образом хотел поступить. «Прибью, говорит, если денег не даст».

В конце этого монолога у Татьяны Ивановны, от полноты горестных чувствований, на глазах появились слезы.

– Нет... Довольно... Заклинаю вас, довольно!.. Я не в состоянии более слушать ваших ужасных слов, – сказала, тоже очень расстроившись, Варвара Александровна. – Нет, это выше моих сил, – сказала она, вставая, – я должна сорвать с него маску, я сама отравлю его семейное счастье, которое устроила; я все

расскажу жене и предостерегу по крайней мере на будущее время несчастную жертву общей нашей ошибки.

Варвара Александровна была, видно, сильно взволнована, и, не помня себя, она даже докурила папироску донельзя и обожгла себе губы.

– Ничего... – говорила она как будто бы сама с собою. – Люди жгутся больше огня. Не огорчайтесь, моя милая, – продолжала она, обращаясь к Татьяне Ивановне, – мы обе обмануты.

– Ваше дело, Варвара Александровна, другое; вы имеете состояние, а у меня только ведь собственные труды и больше ничего, – около тысячи рублей для меня не безделица. Не можете ли, благодетельница моя, мне хоть частичку уплатить. Вас он, может, посоветится и заплатит вам.

– Ни за него, ни для него я не имею денег, – отвечала Варвара Александровна, – но если вы бедны, вот вам пятьдесят рублей, но только это от меня; его же вы можете и должны считать подлецом на всю жизнь.

Татьяна Ивановна весьма обрадовалась

пятидесяти рублям; поцеловала в восторге у Варвары Александровны руку и потом, попросив не оставлять ее и на дальнейшее время своим расположением, отправилась домой.

Варвара Александровна тотчас же решилась ехать к старухе Ступицыной и, вызвав Мари, обеим им рассказать о низких поступках Хозарова. Нетерпение ее было чрезвычайно сильно: не дожидаясь своего экипажа, она отправилась на извозчике, и даже без человека, а потом вошла без доклада. Странная и совершенно неожиданная для нее сцена представилась ее глазам: Мари сидела рядом с офицером, и в самую минуту входа Варвары Александровны уста молодых людей слились в первый поцелуй преступной любви.

Пириневский и Мари, при появлении постороннего лица, отскочили один от другого. Варвара Александровна едва имела силы совладать с собою. Сконфузившись, растерявшись и не зная, что начать делать и говорить, спросила она тоже совершенно потерявшуюся Мари о матери, потом села, а затем, услышав, что Катерина Архиповна больна и теперь заснула, гостья встала и, почти не про-

стившись, отправилась домой.

Там написала она следующее письмо к известной своей приятельнице:

«Chere Claudine!

Я дура, я сумасшедшая и безумная женщина; я носила до сих пор на глазах моих повязку, но которую теперь люди сорвали с меня, и я уже все ясно понимаю. Я ошиблась, chere Claudine, в моих Хозаровых, они дали мне новый урок. Они еще раз заставили меня выпить горькую чашу разочарования. Он – этот юноша, в котором я предполагала столько благородных чувствований, – он отвратительный и жадный заемщик чужих денег, – он развратный интриган, неспособный даже понять порядочную женщину. Он не сумел даже понять моей дружбы; но хотел, посмейся, Claudine, меня развратить и за порок мой заставить меня платить ему деньги. Про эту бабенку я и говорить не хочу. Она, кажется, только и умеет целоваться: целовалась прежде с женихом и с мужем непрерывно, а теперь начала целоваться и с другими поклонниками. Ах, с каким нетерпением я жду

того времени, когда муж мой увезет меня в К.,
дальше от света, дальше от людей; ни в нем,
ни между ними нет ни дружбы, ни любви!..»

Примечания

Повесть впервые напечатана в «Москвитя-
нине» за 1851 год, NoNo 4-7 (февраль, март,
апрель), с посвящением Юрию Никитичу Бар-
теневу, родственнику писателя со стороны
матери.

Писемский начал работать над этим про-
изведением, по всей вероятности, еще во
время первого раменского уединения – в
1847—1848 годах. В письме от 16 ноября 1850
года он сообщил А.Д.Галахову, через которого
вел переговоры о своем сотрудничестве в
журнале «Отечественные записки»: «...напи-
сано у меня много, но ничего не приведено в
окончательный вид, а это для меня самый
продолжительный и самый скучный труд. Те-
перь у меня готовится два рассказа: 1-й) «Брак
по страсти»...[24]. 1 декабря он писал тому же
Галахову: «В половине или в конце нынешне-
го месяца я могу выслать 1-ю часть моего ро-
мана «Брак по страсти»; а в половине янва-
ря – 2-ю и последнюю». Но здесь же Писем-
ский высказал сомнение насчет того, пропу-
стит ли цензура предполагаемый финал «Бра-

ка по страсти»: «...роман по своему ходу должен, непременно должен кончиться тем, что женившиеся по страсти должны непременно разъехаться... возможно ли это и пропустит ли цензура?».[25]

Переговоры с «Отечественными записками» затянулись, и Писемский передал «Брак по страсти» в «Москвитянин». В журнальном тексте первоначально задуманный финал повести был изменен. Сергей Петрович и Мари уже не разъезжаются, как это предполагалось раньше. Дело ограничилось лишь угрозой Хозарова нанять себе отдельную квартиру. В первой публикации повесть заканчивалась следующим эпилогом: «Прошло много лет. Время, все приводящее в порядок, время рассеяло небольшие недоразумения между действующими лицами моего романа, и мало-помалу все пошло по пословице: тишь да гладь и божья благодать. Мамилова с Хозаровыми помирились и на дальнейшее время представляли уже два примерно дружественные семейства. Варвара Александровна окончательно забыла мертвеца, изменила свое мнение в отношении старых и богатых мужей,

поняла значение денег, перестала вдаваться в анализ супружеских отношений и, оставя в усладу себе рассуждения об изящных искусствах, слыла за очень умную женщину. Старик муж ее тоже перестал исключительно предаваться меркантильным выгодам и очень любил слушать, когда барыня его запустится в отвлеченные рассуждения с каким-нибудь умным человеком и иногда даже срежет того. Сергей Петрович, благодаря передаче ему страшным богачом одного торгового дела, значительно поправил свои обстоятельства и потому утратил дурную склонность занимать деньги и получил возможность удовлетворять своему прекрасному вкусу. Мари тоже значительно развилась, из невинного, простодушного существа она преобразилась в свежую, веселую и довольно бойкую даму; перестала играть в рыжего кота и в ладошки, разлюбила страшные сказки и сделалась гораздо осторожнее в отношении молодых людей. Пашет и Анет, наконец, вышли замуж, и обе были, право, счастливы: Пашет, по силе характера, руководствовала своим несколько ветреным мужем, и Анет своего обожала и на

правах страсти тоже им руководствовала. Катерине Архиповне недолго, впрочем, было назначено наслаждаться устроившеюся судьбою ее идола и других дочерей: она умерла. Больше всех об ней плакал Антон Федотыч и, клюкнувши в день похорон жены, многим рассказал по секрету, что старуха оставила ему 50 душ и тысяч десятков тайком накопленных денег. Она действительно оставила ему 20 душ, обязавши не продавать и не закладывать оных, а передать их по смерти детям».

Когда Писемский узнал, что повесть не встретила в цензуре почти никаких препятствий, он написал М.П.Погодину, что этого эпилога «вовсе не следовало бы печатать, если не требовала цензура, я написал его на случай необходимости»[26]. При подготовке «Повестей и рассказов» Писемский удалил этот эпилог из текста. «Насчет поправок моих сочинений, – писал он Погодину 28 марта 1852 года, – то они будут небольшие, у «Брака по страсти» надобно выключить... заключение и окончить письмом Мамиловой, а остальное я могу сделать в корректуре, которую прошу ко мне выслать»[27]. В этом изда-

нии в текст повести не было внесено сколько-нибудь существенных изменений. Писемский ограничился лишь исправлением опечаток и заменой нескольких слов и оборотов. Более тщательной правке текст был подвергнут при подготовке его для издания Ф.Стелловского. Но и в этом случае немногочисленные исправления носили преимущественно стилистический характер.

В настоящем издании повесть печатается по тексту: «Сочинения А.Ф.Писемского», издание Ф.Стелловского, СПб, 1861 г., с исправлениями по предшествующим изданиям, частично – по посмертным «Полным собраниям сочинений» и рукописям.

Примечания

1

Тальма Франсуа Жозеф (1763—1826) – знаменитый французский актер.

[^^^]

2

дорогой мой (франц.).

[^^^]

по-детски (франц.).

[^^^]

благодарю (франц.).

[^^^]

5

Кенкетки – род канделябра.

[^^^]

6

- Не угодно ли с нами пообедать?
- С удовольствием.
- А может, и вечер с нами проведете?
- Ваш покорный слуга! (франц.).

[^^^]

Шу – пышные банты.

[^^^]

До свидания (франц.).

[^^^]

9

Между нами будь сказано (франц.).

[^^^]

Мочалов Павел Степанович (1800—1848) – великий русский актер-трагик.

[^^^]

взгляните, сударыня! (франц.).

[^^^]

смотрите! (франц.).

[^^^]

13

Солитер – крупный бриллиант.

[^^^]

Довольно, сударыня, спасибо, большое спасибо (франц.).

[^^^]

Кстати (франц.).

[^^^]

В старину живали деды... – начальные слова песни М.Н.Загоскина (1789—1852) из либретто оперы А.Верстовского «Аскольдова могила».

[^^^]

Мы живем среди полей... – начальные слова песни М.Н.Загоскина из либретто оперы А.Верстовского «Пан Твардовский».

[^^^]

теща (франц.). Здесь – мамаша.

[^^^]

своячениц (франц.).

[^^^]

Боже мой, боже мой (франц.).

[^^^]

Дюма Александр, отец (1803—1870) – французский писатель, автор многочисленных романов развлекательно-приключенческого характера.

[^^^]

Сю Эжен (1804—1857) – французский писатель.

[^^^]

«Библиотека для чтения» – ежемесячный литературный журнал, издавался с 1834 по 1865 год.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936, стр. 30.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936,
стр. 30—31.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936, стр. 527.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936, стр. 538.

[^^^]